

Дина Рубина

Русская канарейка

Блудный сын



Москва
2022

Посвящается Боре

Луковая роза

1

Невероятному, опасному, в чем-то даже героическому путешествию Желтухина Пятого из Парижа в Лондон в дорожной медной клетке предшествовали несколько бурных дней любви, перебранок, допросов, любви, выпытываний, воплей, рыданий, любви, отчаяния и даже одной драки (после неистовой любви) по адресу рю Обрио, четыре.

Драка не драка, но сине-золотой чашкой севрского фарфора (два ангелочка смотрятся в зеркальный овал) она в него запустила, и попала, и ссадила скулу.

— Елы-палы... — изумленно разглядывая в зеркале ванной свое лицо, бормотал Леон. — Ты же... Ты мне физиономию расквасила! У меня в среду ланч с продюсером канала *Mezzo*...

А она и сама испугалась, налетела, обхватила его голову, припала щекой к его ободранной щеке.

— Я уеду, — выдохнула в отчаянии. — Ничего не получается!

У нее, у Айти, не получалось главное: вскрыть его, как консервную банку, и извлечь ответы на все категорические вопросы, которые задавала, как умела, — упреков неумолимый взгляд в сердцевину его губ.

В день своего ослепительного явления на пороге его парижской квартиры, едва он разомкнул наконец обруч истосковавшихся рук, она развернулась и ляпнула наотмашь:

— Леон! Ты бандит?

И брови дрожали, взлетали, кружили перед его изумленно поднятыми бровями. Он засмеялся, ответил с прекрасной легкостью:

— Конечно, бандит.

Снова потянулся обнять, но не тут-то было. Эта крошка приехала воевать.

— Бандит, бандит, — твердила горестно, — я все обдумала и поняла, знаю я эти замашки...

— Ты сдурела? — потряхивая ее за плечи, спрашивал он. — Какие еще замашки?

— Ты странный, опасный, на острове чуть меня не убил. У тебя нет ни мобильного, ни электронки, ты не терпишь своих фотографий, кроме афишной, где ты — как радостный обмылок. У тебя походка, будто ты убил триста человек... — И встрепенувшись, с запоздалым воплем: — Ты затолкал меня в шкаф!!!

Да. В кладовку на балконе он ее действительно затолкал, — когда Исадора явилась наконец за указаниями, чем кормить Желтухина. От растерянности спрятавшись, не сразу сообразив, как объяснить консьержке мизансцену с полураздетой гостьей в прихожей, верхом на дорожной сумке... Да и в кладовке этой чертовой она отсидела ровно три минуты, пока он судорожно объяснялся с Исадорой: «Спасибо, что не забыли,

моя радость, — (пальцы путаются в петлях рубашки, подозрительно выпущенной из брюк), — однако получается, что уже... э-э... никто никуда не едет».

И все же вывалил он на следующее утро Исадоре *всю правду!* Ну, положим, не всю; положим, в холл он спустился (в тапках на босу ногу) затем, чтобы отменить ее еженедельную уборку. И когда лишь рот открыл (как в песне блатной: «Ко мне нагрянула кузина из Одессы»), сама «кузина», в его рубахе на голое тело, едва прикрывавшей... да ни черта не прикрывавшей! — вылетела из квартиры, сверзилась по лестнице, как школьник на переменке, и стояла-перетаптывалась на нижней ступени, требовательно уставясь на обоих. Леон вздохнул, расплылся в улыбке блаженного крестина, развел руками и сказал:

— Исадора... это моя любовь.

И та уважительно и сердечно отозвалась:

— Поздравляю, месье Леон! — словно перед ней стояли не два обезумевших кролика, а почтенный свадебный кортеж.

На второй день они хотя бы оделись, отворили ставни, заправили измученную тахту, сожрали подчистую все, что оставалось в холодильнике, даже полузасохшие маслины, и вопреки всему, что диктовали ему чутье, здравый смысл и *профессия*, Леон позволил Айе (после грандиозного скандала, когда уже заправленная тахта вновь взывала всеми своими пружинами, принимая и принимая неустанный сиамский груз) выйти с ним в продуктовую лавку.

Они шли, шатаясь от слабости и обморочного счастья, в солнечной дымке ранней весны, в путанице узорных теней от ветвей платанов, и даже этот мягкий свет казался слишком ярким после суток любовного

10 заточения в темной комнате с отключенным телефоном. Если бы сейчас некий беспощадный враг вознамерился растащить их в разные стороны, сил на сопротивление у них было бы не больше, чем у двух гусениц.

Темно-красный фасад кабаре «Точка с запятой», оптика, магазин головных уборов с болванками голов в витрине (одна — с нахлобученной ушанкой, приплавшей сюда из какого-нибудь Воронежа), парикмахерская, аптека, мини-маркет, сплошь обклеенный плакатами о распродажах, brassерия с головастыми газовыми обогревателями над рядами пластиковых столиков, выставленных на тротуар, — все казалось Леону странным, забавным, даже диковатым — короче, абсолютно иным, чем пару дней назад.

Тяжелый пакет с продуктами он нес в одной руке, другой цепко, как ребенка в толпе, держал Айю за руку, и перехватывал, и гладил ладонью ее ладонь, перебирая пальцы и уже тоскуя по *другим, тайным* прикосновениям ее рук, не чая добраться до дома, куда плестись предстояло еще черт знает сколько — минут восемь!

Сейчас он бессильно отметал вопросы, резоны и опасения, что наваливались со всех сторон, каждую минуту предъявляя какой-нибудь новый аргумент (с какой это стати его оставили в покое? Не пасут ли его на всякий случай — как тогда, в аэропорту Краби, — справедливо полагая, что он может вывести их на Айю?).

Ну не мог он без всяких объяснений запереть *прилетевшую птицу* в четырех стенах, поместить в капсулу, наспех слепленную (как ласточки слюной лепят гнезда) его подозрительной и опасливой любовью.

Ему так хотелось прогулять ее по ночному Парижу, вытащить в ресторан, привести в театр, наглядно показав самый расчудесный спектакль: постепенное пре-

ображение артиста с помощью грима, парика и костюма. Хотелось, чтоб и ее пленил уют любимой гримерки: неповторимая, обворожительная смесь спертых запахов пудры, дезодоранта, нагретых ламп, старой пыли и свежих цветов.

Он мечтал закатиться с ней куда-нибудь на целый день — хотя бы и в Парк импрессионистов, с вензелистым золотом его чугунных ворот, с тихим озером и грустным замком, с картинным пазлом его цветников и кружевных партеров, с его матерыми дубами и каштанами, с плюшевыми куколями выстриженных кипарисов. Запастись бутербродами и устроить пикник в псевдояпонской беседке над водоемом, под картавый лягушачий треп, под треск оголтелых сорок, любуясь плавным ходом невозмутимых селезней с их драгоценными, изумрудно-сапфировыми головками...

Но пока Леон не выяснил намерений *друзей из конторы*, разумнее всего было если не смыться из Парижа куда подальше, то, по крайней мере, отсидеться за дверьми с надежными замками.

Что там говорить о вылазках на природу, если на ничтожно малом отрезке пути между домом и продуктовой лавкой Леон беспрестанно озирался, резко останавливаясь и застревая перед витринами.

Вот тут он и обнаружил, что одетой фигуре Айи чего-то недостает. И понял: фотоаппарата! Его и в сумке не было. Ни «специально обученного рюкзака», ни кофра с камерой, ни этих устрашающих объективов, которые она называла «линзами».

— А где же твой *Canon*? — спросил он.

Она легко ответила:

— Продала. Надо ж было как-то к тебе добраться... Башли твои у меня тю-тю, спёрли.

12 — Как — сперли? — Леон напрягся.

Она махнула рукой:

— Да так. Один наркуша несчастный. Спер, пока я спала. Я его, конечно, отметелила — потом, когда в себя пришла. Но он уже все спустил до копейки...

Леон выслушал эту новость с недоумением и подозрением, с внезапной дикой ревностью, ударившей набатом в сердце: какой такой *наркуша*? как мог *спереть* деньги, когда она спала? в какой ночлежке оказался так вовремя рядом? и насколько же это *рядом*? или не в ночлежке? или не *наркуша*?

Мельком благодарно отметил: хорошо, что Владка с детства приучила его смиренно выслушивать любовью невероятный бред. И спохватился: да, но ведь *эта* особа врать не умеет...

Нет. Не сейчас. Не вспугни ее... Никаких допросов, ни слова, ни намек на подозрительность. Никакого повода к серьезной стычке. Она и так искрит от каждого слова — рот открыть боязно.

Свободной рукой обнял ее за плечи, притянул к себе и сказал:

— Купим другую. — И, поколебавшись: — Чуть позже.

Честно говоря, отсутствие такой весомой приметы, как фотоаппарат, с угрожающими хоботами тяжелых линз-объективов, сильно облегчало их передвижения: перелеты, переезды... исчезновения. Так что Леон не торопился восполнить потерю.

Но скрывать Айю, неуправляемую, издалека заметную, не открывшись перед ней хотя бы в каких-то разумных (и в каких же?) пределах... задача была не из легких. Не мог же он, в самом деле, запирать ее в кладовке на время своих отлучек!

Он ужом вертелся: понимаешь, детка, не стоит тебе одной выходить из дома, здесь не очень спокойный

район, много шляется разной сволоты — сумасшедшие, маньяки, полно каких-то извращенцев. Никогда не знаешь, на кого наткнешься...

Глупости, хмыкала она, — центр Парижа! Вот на острове, там да: один сумасшедший извращенец заманил меня в лес и чуть не задушил. Вот там было о-о-очень страшно!

— Ну хорошо. А если я просто тебя попрошу? Пока без объяснений.

— Знаешь, когда наша бабушка не хотела что-то объяснять, она кричала папе: «Помолчи!» — и он как-то сникал, не хотел старуху огорчать, он же деликатный.

— В отличие от тебя.

— Ага, я совсем не деликатная!

Слава богу, она хотя бы к телефону не подходила. Звонки Джерри Леон игнорировал и однажды просто не открыл ему дверь. Филиппа водил за нос и держал на расстоянии, дважды отклонив приглашение поужинать вместе. Две ближайшие репетиции с Робертом отменил, сославшись на простуду (вздыхал в трубку бесстыжим голосом: «Я ужасно болен, Роберт, ужасно! Перенесем репетицию на... да я сам позвоню, когда приду в себя», — и, похоже, небу следовало упасть на землю, чтобы он *пришел в себя*).

Ну, а дальше, как дальше-то быть? И сколько они смогут так отсиживаться — звери, обложенные опасным счастьем? Не может же она торчать с утра до вечера в квартире, как Желтухин Пятый в клетке, вылетая погулять под присмотром Леона по трем окрестным улочкам. Как объяснишь ей, не раскрываясь, странное сопряжение его светской артистической жизни с привычной, на уровне инстинкта, конспирацией? Какими отмеренными в гомеопатических дозах словами

14 рассказать про *контору*, где целая армия специалистов считает недели и дни до часа икс в неизвестной бухте? Как, наконец, не потревожив и не вспугнув, нащупать бикфордов шнур в тайный мир ее собственных страхов и нескончаемого бегства?

И вновь накатывало: насколько, в сущности, они беззащитны оба — два беспризорника в хищном мире всесветной и разнонаправленной охоты...

* * *

— Мы поедem в Бургундию, — объявил Леон, когда они вернулись домой после первой хозяйственной вылазки с чувством, что совершили кругосветное путешествие. — В Бургундию поедem, к Филиппу. Вот отпою спектакль тринадцатого, и... да, и четырнадцатого запись на радио... — Вспомнил и простонал: — О-о-о, еще ведь концерт в Кембридже, да... Но потом! — увлекающим и бодрым тоном: — Потом мы обязательно уедem на пять дней к Филиппу. Там леса, косули-зайцы... камин и Франсуаза. Ты влюбишьcя в Бургундию!

За туманную кромку этих пяти дней боялся заглядывать, ничего не соображал.

Он вообще сейчас не мог соображать: все внимание его, все нервы, все несчастные интеллектуальные усилия были направлены на то, чтобы ежесекундно держать круговую оборону против своей возлюбленной: вот уж кто не заботился о подборе слов, кто забрасывал его вопросами, не спуская требовательных глаз с его лица.

— А как ты узнал наш адрес в Алма-Ате?

— Ну-у... Ты же его называла.

— Врешь!

— Да это простейшая задача справочной службы, клещ ты мой ненаглядный!

Как-то выходило, что ни на один ее вопрос он не мог дать правдивого ответа. Как-то получалось, что вся его крученая-верченая, как поросячий хвост, проклятая жизнь была вплетена в замысловатый ковровый узор не только личных тайн, но и совершенно закрытых сведений и кусков биографий — и своей, и чужих, — на изложение которых, даже просто на намек он права не имел. Его Иерусалим, его отрочество и юность, его солдатская честная и другая, тайная, рискованная, а порой и преступная по меркам закона жизнь, его блаженно растворенный в глотке, гортанно перебирающий связки *запретный* иврит, его любимый *богатый* арабский (который он иногда прогуливал, как пса на поводке, в какой-нибудь парижской мечети или в культурном центре где-нибудь в Рюзе) — весь огромный материк его прошлого был затоплен между ним и Айей, как Атлантида, и больше всего Леон боялся момента, когда, отхлынув естественным отливом, их утоленная телесная жажда оставит на песке следы их беззащитно обнаженных жизней — причину и повод задуматься друг над другом.

Пока спасало лишь то, что квартирка на рю Обрио была до краев заполнена подлинным и насущным сегодняшним днем: его работой, его страстью, его Музыкой, которую — увы! — Айя не могла ни прочувствовать, ни разделить.

С осторожным и несколько отчужденным интересом она просматривала на «Ютьюбе» отрывки из оперных спектаклей с участием Леона. Выбеленные гримом персонажи в тогах, кафтанах, современных

16 костюмах или мундирах разных армий и эпох (загадочный выплеск режиссерского замысла) неестественно широко разевали рты и подолгу так застре-вали в кадре, с идиотским изумлением в округленных губах. Их чулки с подвязками, ботфорты и бальные тапочки, пышные парики и разнообразные головные уборы, от широкополых шляп и цилиндров до военных касок и тропических шлемов, своей неестественной натужностью просто приводили в оторопь нормального человека. Аяя вскрикивала и хохотала, когда Леон появлялся в женской роли, в costume эпохи барокко: загримированный, в пудренном парике, с кокетливой черной мушкой на щеке, в платье с фижмами и декольте, обнажавшем слишком рельефные для женского образа плечи («Ты что, лифчик надевал для этого костюма?» «Ну-у... пришлось, да». «Ватой набивал?» «Зачем, для этого есть специальные приспособления». «Ха! Бред какой-то!» «Не бред, а театр! А твои “рассказы” — они что, не театр?»).

Она старательно пролистала пачку афиш, висящих за дверью в спальне, — по ним можно было изучать географию его передвижений в последние годы; склонив голову к плечу, тихо трогала клавиши «стейнвея»; заставила Леона что-то пропеть, напряженно следя за артикуляцией губ, то и дело вскакивая и припадая ухом к его груди, будто стетоскоп прикладывала. Задумчиво попросила:

— А теперь — «Стаканчики граненые»...

И когда он умолк и обнял ее, покачивая и не отпуская, долго молчала. Наконец спокойно проговорила:

— Только если всегда сидеть у тебя на спине. Вот если бы ты басом пел, тогда есть шанс услышать... как бы издалека, очень издалека... Я еще в наушниках по-пробую, потом, ладно?

А что — потом? И — когда, собственно?

Она и сама оказалась отменным конспиратором: ни слова о главном. Как он ни заводил осторожных разговоров о ее лондонской жизни (подступался исподволь, в образе ревнивого любовника, и видит бог, не слишком притворялся), всегда замыкалась, сводила к пустякам, к каким-нибудь забавным случаям, к историям, произошедшим с нею самой или с ее безалаберными друзьями: «Представляешь, и этот детина, размахивая пистолетом, рывкает: живо ложись на землю и гони *мани!* А Фил стоит как дурак с гамбургером в руках, трясется, но жалко же бросить, только что купил горячий, жрать охота! Тогда он говорит: “А вы не могли бы поддержать мой ужин, пока я достану портмоне?” И что ты думаешь? Громила осторожно берет у него пакет и терпеливо ждет, пока Фил рыщет по карманам в поисках кошелька. А напоследок оставляет ему пару фунтов на проезд! Фил всё потом изумлялся — какой гуманный попался гангстер, прямо не бандит, а благотворитель: и от гамбургера ни разу не отхарчил, и дорогу до дому профинансировал...»

Леон даже засомневался: может, в *конторе* ошиблись — вряд ли она бы выжила, если б кто-то из *профессионалов* поставил перед собой цель ее уничтожить.

Но что правда, то правда: была она чертовски чувствительна; мгновенно реагировала на любое изменение темы и ситуации. Про себя он восхищался: как это у нее получается? Ведь ни интонации не слышит, ни высоты и силы голоса. Неужели только ритм движения губ, только смена выражений в лице, только жесты дают ей столь подробную и глубокую психологическую картину момента? Тогда это просто детектор лжи какой-то, а не женщина!

— У тебя меняется осанка, — заметила она в один из этих дней, — пластика тела меняется, когда звонит телефон. Ты подбираешься к нему, будто выстрела

18 ждешь. А в окно смотришь из-за занавеси. Почему? Тебе угрожают?

— Именно, — отозвался он с глуповатым смешком. — Мне угрожают еще одним благотворительным концертом...

Он шутил, отбрехивался, гонялся за ней по комнате, чтобы схватить, скрутить, обцеловать...

Два раза решился на безумие — выводил ее погулять в Люксембургский сад, и был натяннут как тетива, и всю дорогу молчал — и Айя молчала, будто чувствовала его напряжение. Приятная вышла прогулочка...

День ото дня между ними вырастала стена, которую строили оба; с каждым осторожным словом, с каждым уклончивым взглядом эта стена становилась все выше и рано или поздно просто заслонила бы их друг от друга.

* * *

Через неделю, вернувшись после концерта — с цветами и сладями из полуночного курдского магазина на рю де ля Рокетт, — Леон обнаружил, что Айя исчезла. Дом был пуст и бездыханен — уж Леонов-то гениальный слух мгновенно прошупывал до последней пылинки любое помещение.

Несколько мгновений он стоял в прихожей, не раздеваясь, еще не веря, еще надеясь (пулеметная лента мыслей, и ни одной толковой, и все тот же ноющий в «поддыхе» ужас, будто ребенка в толпе потерял; мало — потерял, так его, этого ребенка, и не докричишься — не услышит).

Он заметался по квартире — с букетом и коробкой в руках. Первым делом, вопреки здравому смыслу и собственному слуху, заглянул под тахту, как в детстве, дурацки надеясь на шутку — вдруг она там спряталась-

замерла, чтобы его напугать. Затем обыскал все видимые поверхности на предмет оставленной записки.

Распахнул дверцы кладовки на балконе, дважды возвращался в ванную, машинально заглядывая в душевую кабину — словно Айя могла вдруг материализоваться там из воздуха. Наконец, бросив на стиральной машине букет и коробку с булочками (просто чтобы дать свободу рукам, готовым смять, ударить, отшвырнуть, скрутить и убить любого, кто окажется на пути), выскочил на улицу как был — в смокинге, в бабочке, в накинутом, но не застегнутом плаще. Презирая себя, умирая от отчаяния, беззвучно повторяя себе, что у него наверняка уже и голос пропал *на нервной почке* («и черт с ним, и поздравляю — недолго музыка играла, недолго фраер танцевал!»), минут сорок он болтался по округе, отлично сознавая, что все эти жалкие метания бессмысленны и нелепы.

На улицах и в переулках квартала Марэ уже пробудилась и заворочалась еженощная богемная жизнь: мигали лампочки над входом в бары и пабы, из открытых дверей выпархивали струйки блюза или утробная икота рока, за углом по чьей-то пухлой кожаной спине молотили кулачки и, хихикая и всхлипывая, изнутри этого кентавра кто-то выкрикивал ругательства...

Леон заглядывал во все подвернувшиеся заведения, спускался в полуподвалы, обшаривал взглядом столы, ошупывал фигуры-спины-профили на высоких табуретах у стоек баров, топтался у дверей в дамские комнаты в ожидании — не выйдет ли она. И очень зримо представлял ее под руку с кем-нибудь из этих... из вот таких...

В конце концов вернулся домой в надежде, что она слегка заблудилась, но рано или поздно... И вновь угодил в убийственную тишину со спящим «стейнвеем».

На кухне он выхлестал одну за другой три чашки холодной воды, не думая, что это вредно для горла, тут

20 же над раковиной ополоснул вспотевшие лицо и шею, заплескав отвороты смокинга, приказал себе уняться, переодеться и... думать, наконец. Легко сказать! Итак: в прихожей не оказалось ни плаща ее, ни туфель. Но чемодан-то в углу спальни, он...

Да что ей чемодан, что ей чемодан, что ей все на свете чемоданы!!! — это вслух, заплошным воплем... А может, она ускользнула, почуяв опасность? Может, в его отсутствие сюда явился какой-нибудь Джерри (по какому праву Натан приволок этого типа, подарив полную свободу появления в моей частной жизни, — черт побери, как я их всех ненавижу! бедная моя, бедная гонимая девочка!).

...Вернулась она в четверть второго.

Леон уже разработал стратегию поиска, стал собран, холоден, знал, где и через кого раздобудет оружие, и был полностью готов к любому сценарию отношений с *конторой*: шантажировать их, торговаться с ними, угрожать. Если понадобится, идти до последней черты. Ждал трех часов ночи, чтобы первым делом нагряться к Джерри — *правильным образом...*

И вот тогда в замке простодушно и обыденно крякнул ключ, и вошла Айя — оживленная, в распахнутом плаще, с букетом пунцовых хризантем («от нашего стола — вашему столу»). Ее щеки, надраенные ветерком, тоже нежно-пунцовые, так чудно отзывались и хризантемам, и полуразвязанному белому шарфику на белой шее, а широкий разлет бровей так победно реял над ее *фаюмскими* глазами и высокими скулами...

Леон призвал все силы, всю свою выдержку, чтобы спокойно снять с нее плащ — руками, подрагивающими от бешенства; сдержанно коснулся губами леденцовых от холода губ и не сразу, а целых полминуты спустя спросил, улыбаясь:

— Где ты была?

— Гуляла. — И дальше охотно, с шутливым удовольствием: представь, облазила все вокруг и обнаружила, что года четыре назад меня сюда приводили в студию к одному фотографу. Может, ты с ним знаком? Он работает в таком размывающем стиле типа «романтизм», загадочный полет в рапиде. Мне-то лично никогда не нравились эти трюки, но есть любители подобного застарелого дерьма...

— Ты, верно, забыла, что я просил без меня не... — всё еще улыбаясь, оборвал он.

И она, тоже улыбаясь в ответ:

— Может, стоит на меня уж и колодки надеть?

После чего оба заорали, спущенные с поводков, сблизив разъяренные лица, будто собираясь сшибить-ся лбами.

Он орал как резаный, чуть не впервые в жизни (вот где дремал до поры до времени *повышенный звуковой фон Дома Этингера*: в потайном ядре его страхов, выпущенных на свободу), наслаждался: можно выораться всласть, стены бывшей конюшни вынесут пронзительную сирену разъяренного контратенора, а эта *глухомань* все равно ни черта не услышит; можно выорать весь минувший страх за нее, бешенство и ненависть (да, да, ненависть!!! — как он мог, безумец, окончательно спятивший на *этой помойной оторве*, представить себе, что *контора*... да нет, его друзья, его соратники! — могут переступить с ним черту, которую!!!..)

Айя выпевала, оплетая собственное лицо плеском обезумевших ладоней:

— Я-а-а уе-е-еду-у-у!!! Я-а не в тюрьме-е-е! Не в тюрьме-е-е!!!

Он тихо произнес, четко выговаривая:

22 — Ни пуха, ни праха!

Ушел в спальню, хлопнул дверью, рухнул на тахту лицом вниз.

Через пять минут, отгрохотавших в его висках, она вошла на цыпочках, легла рядом и стала тихо гладить его плечи несусветными своими руками — гладить, перебирать, танцевать и вышивать пальцами. Прокралась ладонями под свитер, переплела руки у него на животе, вжалась грудью в его спину, сказала хрипло, гундосо:

— Не прогоняй меня...

Он взвыл, перевернулся, взвился над нею...

...и так далее...

Но не эта очередная — исступленная, упоительная, горькая, сладкая — ссора оказалась переломной в их первых мучительных днях.

Перелом наступил чуть позже, под утро.

Впоследствии, вспоминая эти минуты, он мысленно произносил: «Хамсин сломался» — как говорят обычно в Иерусалиме, когда вся тяжесть пустынного ветра с мутной взвесью песка, с его трехдневным мороком и тоской, с его удушьем в вязком плотном воздухе внезапно дрогнет; прогнется и освободит стрелу невидимая тети-ва, неизвестно откуда потянет налетевшим ветерком. Провеетесь воздух, становясь все прозрачнее и свежее — и вдруг рассеется обморок и тлен, как не было их, и певуче округлятся застывшие гребни волн Иудейской пустыни, а фиолетовый шелк туго обтянет далекие призывные груди Иорданских гор.

Она уже засыпала, и он почти заснул, и другой бы не услышал, что там она бормочет на выдохе, но он своим тончайшим слухом уловил и эти несколько слов:

— Гюнтер тоже... — бормотнула она, — те же уловки... 23

Леон открыл глаза: будто ткнули кулаком под ребро; перестал дышать... Тихо обнял ее, чтобы и во сне она его *услышала*, легко и внятно шепнул:

— Кто это — Гюнтер? Твой бывший *хахаль*?

Она открыла глаза, два-три мгновения испуганно глядела в потолок... вновь опустила веки и — в полусне, жалобно:

— Нет, Фридриха сын... *Нох айн казахе...*

И уже до утра Леон не заснул ни на минуту. Встал, оделся, долго сидел в кухне, не зажигая лампы, то и дело вскакивая и высматривая в окно предрассветную, погруженную в сонный обморок улочку, монастырскую стену напротив, желтую в свете навесных фонарей.

Вошел и постоял в гостиной. Свет уличного фонаря лепил на крышке «стейнвея» рельефы двух серебряных рамок с фотографиями: юная Эська с бессмертным кенарем и послетифозная, в рыжем «парике парубка» Леонор Эсперанса. Глубокий и тайный колодезь, что-то запретное, смутное, нежное (он говорил себе: *политональное*) между двумя этими давно минувшими лицами — бездна, из которой извлечены были его имя и образ.

Он повторял себе, что дольше так тянуться не может, что бездействие и обоюдное их молчание смертельно опасны, что время не ждет: их непременно выследят, если не мясники Гюнтера, то уж за милую душу — острые *следаки конторы*.

И неужели, жестко спросил он себя, неужели дела *конторы* ближе тебе и дороже, чем твоя — наконец-то встреченная — твоя, твоя женщина?!

Нет, моя жизнь не станет вашей мишенью. Никаких уступок! И Айю вы не получите!

24 И уже знал, что способен на все: сопротивляться, пружинить и ускользнуть. Если понадобится — лгать и шантажировать. Если придется — убивать...

Утром был готов к разговору.

Долго стоял под душем, запрокинув лицо, будто вспоминая, для чего вообще сюда забрался. Тщательно, не торопясь, побрился, натянул тонкий черный пуловер и черные джинсы — любимый рабочий прикид, в котором обычно репетировал (хотя знал, что ждет его отнюдь не репетиция, а один из решающих в жизни *выходов*). Глянул в зеркало и отшатнулся: лицо какое-то костяное, диковатые гиблые глаза... Мда: герой-любовник, иначе не скажешь.

Айя все спала. И пока готовил ей завтрак, Леон напряженно размышлял только над тем, как проведет их двухвесельную лодочку в фарватере опасной беседы, с чего начнет этот немислимый разговор, что *сможет* рассказать, а что *должен* скрыть. О чем будет ее умолять, какую отсрочку выпрашивать.

Он готовился к разговору. И все же — *как это отныне всегда между ними будет* — опоздал.

Она вышла из спальни — тоже полностью одетая. Так стеснительная гостя для любого проشمыга по коридору облачается чуть ли не в парадный костюм, включая перчатки и шляпу.

Он поднял голову и опешил. И она растерялась, увидев его одетым, выбритым, напряженным: оба вышли друг к другу, как переговорщики в судьбоносном процессе между двумя государствами.

— Ты... что это? — озадаченно спросил он. — Куда собралась?

— А ты куда? — в ответ спросила она. И стояли оба, как тогда, на острове — чужие, но одного роста, незна-

комые, но с одинаковым выражением в глазах; насто-
роженно оглядывали друг друга — два беспризорника
в опасном и враждебном мире.

И разом она побелела, будто в эту минуту узнала и
решительно приняла какую-то безысходную весть.

— Присядь, — сказала. — Леон, я тебе... несколько
слов. Не могу больше...

Молча сели друг против друга за столик величиной
с поднос в столовке Одесского судоремонтного. И Ая
заговорила, запинаясь, умолкая, выпаливая по два-три
слова, не помогая себе, как обычно, руками-певунья-
ми, а пряча их на коленях, заталкивая между колен и
под столом ломая, выкручивая пальцы, заставляя их
молчать.

— Я поняла, что должна уехать, — сегодня, сейчас...
Подожди, дай сказать, а то... а то я заплачу раньше
времени, я же плакса. Родной мой... видишь, как все у
нас получается... Молчи! — вскрикнула высоко, болез-
ненно, будто палец прищемила. Неожиданно для себя
заговорила быстро, сосредоточенно, задыхаясь и торо-
пясь: — Вот я уже как бабушка моя... Но я просто не
имею права подставлять тебя, это подло. Погостила у
тебя, отдохнула, измучила тебя совсем... Спасибо тебе!
А дальше буду сама, пока получается, а не то... тебя
убьют вместе со мной.

Она прерывисто вздохнула, не сводя с его лица
страдальческих, недоуменных глаз.

— Но не только это... Вот ты, мой хороший. Я ниче-
го про тебя не знаю, не понимаю, я совсем в тебе запу-
талась, только подозреваю *во всем*, потому что научена,
затравлена, однажды уже убита. И потому, что видала
их, *таких, как ты*. Ты что-то прячешь в своей жизни,
надежно, тщательно прячешь. Может, и не свои секре-

26 ты, скорее всего, не свои, иначе ты бы так не упорствовал, не ускользал от меня, не запирал решетки-двери и замки не навешивал. Не знаю, как это называется, — ну, подскажи, помоги мне — *шпионаж*? Ох, прости, благороднее: *разведка*, да? Хорошо, не важно. Просто я сыта по горло *такими людьми*. Ты похож на одного типа — повадка, привычки, скрытность: туда не иди, телефон не бери, убью, если рот откроешь. *Нох айн казахе...* И неважно, что ты еще и Голос. Я говорю о сути, о повадке: человек может быть кем угодно — ученым, бизнесменом, художником, певцом. Но приходит минута, когда он... когда *такие люди, как ты и он*, мягко ступают и сдавливают другому горло. Молчи, ради бога, молчи!.. Невыносимо, если ты опять начнешь изворачиваться!

По ее лицу уже катились слезы, свободно и обильно, и она их не отирала, будто слезы эти не имели к ней и к тому, что она говорит, ни малейшего отношения. Так в доме продолжается обыденная жизнь, когда снаружи по стеклу бегут и бегут струи дождя.

— Или не горло, а что там? Глаза выдавить? Нож всадить? Наверное, это нужно кому-то — ну, там, странам, народам, правительствам, очередному богу... Видишь, я даже не спрашиваю подробностей, не до того мне. Я давно убегаю и убегаю, иначе меня убьют...

Она опять выдохнула с мучительной натугой, горько усмехнулась и покачала головой, рассеянно проводя ладонью по лбу, стирая детское удивление в бровях:

— Все время думаю, какого лешего я сюда приволокла — за тыщи километров, в то же логово — ну, может, наизнанку, — но с теми же правилами игры? Пока летела, все допрашивала себя: зачем, зачем ты это делаешь, дура? Глупой бабочкой — к тебе.

И сосредоточенно хмурясь, будто пытаешься дознаться — у него, у самой себя:

— Как меня угораздило тебя полюбить? Не влюбиться; мне втюриться в живописную рожу — плюнуть раз. А вот нет же: так нестерпимо полюбить — как нарыв в сердце, и невозможно жить, когда отнимаешь руку... Постой, не перебивай, не путай меня, и так кавардак в башке. По порядку: не хочу притаскивать к тебе свою смерть, не хочу тебя подставлять. У тебя наверняка *свои дела в этом бизнесе* — тоже какие-нибудь контракты, фрахтовые ведомости, грузовые перевозки. Вся эта тайная возня, связанная с очередной дерьмовой бомбой? Или с чем-то вроде? Какие-нибудь многоходовки оружейных концернов, поставки чего-то там, только в другие регионы? Я ошибаюсь? Ну, в общем: чтобы люди друг друга взрывали, стреляли, выжигали... и на всякий случай убить того, кто случайно сунул нос в эту вонючую кучу. Но ты еще и поёшь! Поёшь прекрасным женским голосом — наверняка убийственно прекрасным, если столько людей им восхищаются. Жаль, не могу услышать. Поёшь, как сирена, — так, что забывается боль? Как ангел смерти ты поёшь, да, Леон? А я...

Он вскочил и отшвырнул стул...

Бросился — в книгах читал, на сцене видел, сам проделывал — в ролях! — но не подозревал, что такое может случиться с ним *наяву*, и не представлял, что в жизни это выглядит так нелепо, не грациозно, униЗИтельно — *бросился к ногам*: то есть рухнул на пол и вцепился в ее колени, сильно сжал их обеими ладонями, щекой прижался, зажмурил глаза.

Сердце бухало в ее колени, как пенный прибор.

— Нет, нет, — отрывисто и глухо бормотал он, — нет, Аяя, не получится от меня убежать. Посмотри на меня! — Вскинул голову, взял ее лицо в ладони: —

28 Я тебе сейчас не все могу сказать. Сейчас. Да тебе и не нужны подробности. Ты права: проклятые игры... Но я тебя убивать не да-ам!.. Я этого не!!!.. Я потому и согласился, потому и преследую их... Слушай меня! Ты мне веришь? Не веришь. Хорошо, не верь. Не верь мне! Только никуда от меня ни на шаг. Ни на шаг! Это — единственное, о чем прошу. Обещай мне!

Она молча смотрела на него жадно-подробным взглядом, словно по жилочкам перебирала все его лицо, как снимок форматировала, отбрасывая несущественное, вытягивая выразительные черты, усиливая светом рельеф.

— Ты вот сказала: я убил триста человек. Нет уж, теперь ты помолчи! Помолчи, потому что ты... права, да. Ну, не триста, но... я понимаю тебя... Когда ты спросила меня: *Леон-ты-бандит*, у меня все внутри обвалилось. Потому что я... да, я убивал людей. У меня была такая жизнь, я был солдатом, понимаешь? Не могу всего рассказать, но — хорошим солдатом, а потом — хорошим охотником и сторожевым псом, и ищейкой, и волкодавом... да просто волчарой! Слишком много людей надо было спасти, при этом — именно — убивая других. Есть такой библейский закон — убить убийцу. Убить его прежде, чем он успеет отнять чью-то жизнь. Так убивают скорпионов, ядовитых змей, заползших в дом. Так жизнь моя сложилась, понимаешь, такое непростое место, где я вырос. Послушай, любовь моя, это долго рассказывать. И дальше мне нет ходу, не имею права: «кирпич»! Настанет время, и ты будешь знать обо мне все, все!.. да ты и сейчас все знаешь — поджилками, поддыхом, сердцем, грудками своими, — иначе не приехала бы, ты же такой человек... от-вра-ти-тельно трудный! Но ты со своей вреднучей дотошностью — ты уймись пока, а? Пока только пойми, что всё наоборот: я с теми, кто охотится за этими

вот торговцами смертью, за спекулянтами тел, разорванных на куски... Правда, для нас с тобой сегодня все еще сложнее, еще зловещее, и я не могу пока объяснить тебе — почему. Когда-нибудь — надеюсь, скоро — я все тебе расскажу. Пока только прошу: не думай обо мне *так* — не запускай свою мысль в этот ужасный штопор. Пока просто: ни шагу! никуда! от меня... чтобы мы оба остались живы. Я понятно объяснил?

Она молча кивнула, хотя все, что он бормотал, ловя ее руки, вытаскивая их из ее намертво сведенных колен, прижимая ее ладони к своему лицу и не пытаясь ни поцеловать ее, ни обнять, — все было дико и необъяснимо. Но ей не слова были нужны, а вот это его измученное лицо, смятое болью, — как там, в аэропорту, когда она ничего не могла понять, и все было наперекосяк: настоящее его лицо за мутными словами-защитками.

Он вскочил, подхватил с пола и твердо поставил стул, придвинул к ней тарелку, вывалил из сковороды горку остывшей яичницы.

— Ешь вот, я приготовил. Ну все, все, больше ни слова, ешь! — Оседлал стул, устался, будто лично хотел проследить, как она станет глотать и жевать. — Постой, я посолить забыл! — схватив солонку, нервно принялся взбивать ею воздух над тарелкой.

Господи, какое облегчение...

— Ты пересолишь! — крикнула она, хватая его руку.

И оба вскочили и над этой неудачной, этой прекрасной яичницей судорожно обнялись, что-то бурно и бестолково продолжая договаривать, перебивая друг друга, хватая друг друга за руки, за плечи, торопясь объяснить, что... невозможно, понимаешь... я не все волен тебе...

— А я тебе — все, все расскажу сейчас до капельки и навсегда!

— Погоди, не части, дослушай... Ты только знай, что если запрешь, то это — не мое. А то мое, что и твое, это... Айя, пойми, у меня же, кроме тебя...

— ...нет, я тебе только хотела сказать...

— ...это я тебе хотел сказать, моя любимая!

И все было почти как там, на острове, когда она произнесла: «Желтухин», а он сказал: «Дядя Коля Каблуков», — и весь мир извергнулся салютом двух жизней; только там этот захлеб был скорее изумлением, небывалой встречей, увлекательным сюжетом, вроде «Сколько-то там тысяч лье под водой», не то что сейчас, когда каждая клеточка проросла острым ростком обоюдной боли, и опасно тронуть...

...и залечить все можно только прикосновением губ, только осторожным пунктиром диковато-пугливых поцелуев-вопросов, и отчаянных, решительных поцелуев-ответов, и поцелуев-оборванных монологов, и поцелуев-догадок, поцелуев-окликов, поцелуев-признания, и наконец, поцелуев-молчания...

Долгого, долгого молчания... давно опустевшей кухни.

Через час Леон — собранный, пружинистый, коротко задающий вопросы — по мнению Айи, нелепые или очевидные, — уже видел всю кошмарную картину последних месяцев ее жизни.

Все просто, понимаешь, торопливо, с облегчением, с огромным увлечением, даже страстно объясняла она, вскакивая, мотаясь по комнате и *договаривая* детали вновь отпущенными на волю руками. Надо просто четко следовать правилам.

— Каким правилам?

— Как, ты не знаешь? Вот смотри: никогда не садись в первое такси — только во второе, а лучше в третье. Ни-

когда не лови попуток. Все время меняй места ночлега, еще лучше — все время будь в дороге, в толпе, в автобусе, в поезде, среди людей... Выходи почаще из автобуса, пересаживайся, возвращайся... Хорошо, когда магазины большие и насквозь — с несколькими входами: можно выскользнуть. В кармане куртки или в рюкзаке всегда иметь два головных убора — красный берет и... и какую-нибудь серую косынку. Зашла в туалет, нацепила берет, черные очки и... Вообще, это забавно, какое-то время мне даже... ну, не то чтобы нравилось, а как-то... держало в тонусе: неожиданно менять планы, даже если никому о них не говоришь. Тебя приглашают на выставку в Суррей, ты пишешь: «Спасибо, непременно буду», садишься в поезд и едешь в... Ричмонд — просто так, погулять; только не оставаться на месте, всегда выбирать третий путь. Необъяснимость действий, спонтанность решений — то, что *они* не могут просчитать. Если посылаешь папе эсэмэску — сразу вырубай мобилу и уезжай... Еще полезно сим-карты менять. Порвать все связи, не отвечать на звонки, на мэйлы... Я даже с Михаль прекратила переписку, а я знаешь, как люблю Михаль!

Она задумывалась и затихала, вспоминая, и он не торопил ее. Спыхватывалась и чуть ли не хвастливо перечисляла еще какие-нибудь свои бог знает откуда почерпнутые *методы ускользания*:

— А, вот еще, забыла: у меня есть водительские права на имя Камиллы Робинсон, украли у девчонки в студенческом хостеле, до сих пор стыдно, но по ним можно кое-где передвигаться. Жаль, в самолет с ними не пролезешь... Но в какой-нибудь пансион, в какую-нибудь ночлежку — плюнуть раз... А вообще, всегда полезно напроситься к дальним знакомым из другой жизни. И в совсем чужом или подозрительном месте надо обязательно делать «куклу». Понимаешь?

— Нет.

— Ну-у... Просто не ложись в ту постель, что для тебя приготовлена. Кладешь туда рюкзак, шмотки, полотенца... Художественно камуфлируешь, как бы человек с головой укрылся.

— А сама...

— А сама — как получится. Однажды всю ночь просидела на подоконнике за занавеской. Но он был довольно широким, подоконник.

— Послушай, мое сокровище. Откуда ты всего этого набралась?

Она недоверчиво смотрела на него, высоко подняв свои полетные брови, искренне удивляясь:

— Да ты что! Я, когда поняла, что меня ждет, — после той встречи с Большой Бертой, — скачала из Интернета все шпионские романы и выучила все правила, как уходить от погони. Я тебе отбарабаню все методы слежки за объектом: правильная *наружка* — это всегда бригадой. Иногда преследователи идут «гуськом» — обгоняя объект, как бы передают его друг другу; или по обеим сторонам улицы идут... А есть еще метод «коробка» — когда «закрывают» все входы и выходы в здании. А есть «провокация» — это когда объекту демонстрируют агрессивную слежку. Короче, в романах все есть, на любой случай: писатели ведь тоже консультируются со специалистами, это же ясно.

Это ясно. Это просто сойти с ума — вот так-то, ночью, на подоконнике за занавеской. Да, крепкий орешек твоя драгоценная глухая приبلуда...

Сейчас он понимал, почему она не побоялась причалить к нему на острове — к нему, незнакомцу, *нох айн казахе*... «Стаканчики граненые» — вот был пароль. Он, Леон, был «своим», из детства явился, из отцова

гнезда — посланец Желтухина. И потому так доверчиво подошла и заговорила по-русски, домашним языком, с домашними интонациями, будто к отцу обращалась. И ела из его рук, и так бурно, так много говорила, что даже показалась болтушкой...

А теперь представь, что она пережила там, в лесу, когда ты завел ее в чащу и сдавил ей горло. Какие мысли мелькнули в ее голове? Господи, затоптать бы это подлое воспоминание...

А она все тормошила его и требовала, чтобы он еще, еще спрашивал, готова была рассказывать, объяснять, уточнять подробности, описывать приметы внешности, характерные жесты, повадки, походки, словно дождалась наконец той минуты, когда ее природная наблюдательность, ее острый глаз и незаурядное умение сопоставлять обрывки случайно «увиденных» слов, обобщая, вытягивая общий смысл, окажутся не то что востребованными, а жизненно необходимыми — для Леона, для нее самой, для их будущего. Впервые за эти месяцы разомкнулся железный ошейник, защелкнутый у нее на зашивке; впервые она чувствовала себя защищенной; чувствовала, что не одна. Бросалась к Леону, обеими руками энергично и азартно трясла за плечи:

— Ну, спроси еще, спроси, что хочешь!

Он же, наоборот, пытался ее расслабить, успокоить, чтобы затем неожиданным вопросом-крючком выдернуть из памяти то, о чем она, возможно, забыла упомянуть, или подсознательно боялась тревожить, или считала неинтересным.

Леон уже не был уверен, что *Гюнтер* добивался ее смерти. Припугнуть, чтобы не повадно было лезть куда не просят, это — возможно...

Он уже знал весь маршрут ее передвижений, все места, где она нанималась подработать, все ее контакты, всех знакомых, приятелей, обидчиков и врагов. С каменным лицом, со сжатыми челюстями выслушал *историю убийства в Рио* (как она это называла) — не настаивал, сама захотела все рассказать, и видно было: столько раз *описывала, проговаривала* это себе самой, столько прокручивала, выжимая трагедию досуха, что вслух получался протокольный перечень ужасных минут: сорвали фотоаппарат, поволокли, и когда она лягнула в мошонку того, огромного, жирного, другой — мозгляк, усики ниточкой — ударил сзади по голове. И больше ничего — до всплывшего медленной мутной луной плафона дневного света в палате, после трех дней черной комы.

В конце концов она с облегчением повалилась на тахту, выдохнула с протяжным стоном и потянулась, закинув руки за голову. Устала, вывалила все до дынышка, не оставив за душой ни крошки, ни запятой, ни единой заначки в прошлом. Даже про старого балбеса Рауля рассказала, не забыв татуировку его — коптский крест. Расписала сердобольную Луизку с ее ароматическими свечами, «девочками» и всепрощающим Буддой в уголке двора. Юрчу-ворюгу изобразила, с идиотскими его деревянными мертвецами... Ей было легко, спокойно, даже весело; от бури вываленных слов, от прерывистого дыхания, от порывистой жестикуляции слегка звенело в голове, и хотелось разом перечеркнуть несколько лет своей жизни, все напрочь забыть — и ни капельки не жалко! Вот бы такую таблетку изобрели... А теперь бы заснуть — сладко, уютно, и спать, и спать, как в детстве, на «рыдване» дяди Коли-Зверолова, чувствуя только папины руки, когда он укрывает ее сползшим на пол одеялом...

Леон вышел на кухню, вымыл яблоко, вернулся и протянул Айе. И молча глядел, как с хрустом она оттапала огромный кусок и с удовольствием жевала, подетски тараша блестящие, не просохшие от слез глаза. Дождался, пока она догрызет все до черенка, улыбнулся и мягко проговорил:

— А теперь с самого начала...

Часа через полтора он раскопал ту давнюю встречу на вершине горы Кок-Тюбе, где Айя с Фридрихом встречали «дядю Андрея».

— *А девочка — красотка...*

— *То-то и оно.*

— *Бедняжка...*

— *А ты полегче: мы фантастически понимаем по губам...*

— *Твоя мама была прелестной женщиной. Прелестной!*

— Понимаешь, хотя они и встретились случайно...

— Погоди, — остановил он ее. — Не торопись. Вот теперь о «случайно» и о Фридрихе.

Неистовые подземные сплетения многолетних корней... Он расплетал их с той же вкрадчивой и трепетной осторожностью, с тем же хищным азартом ищейки, с каким распутывал когда-то сложнейшие змеиные клубки террористических ячеек где-нибудь в Рамалле или Шхеме. Засыпал Айю вопросами, останавливал, возвращал к уже сказанному, поворачивал прежний вопрос неожиданной стороной, озадачивал, огорошивал, обращал внимание на противоречия. Встречала ли она, Айя, еще когда-либо Крушевича? Может быть, в Лондоне, в доме Фридриха? Присутствовала ли когда-нибудь Елена на встречах с его «партнерами» или

36 была всего только женой, мало осведомленной в делах мужа? Видала ли Айя что-то еще, кроме пластиковой папки из сейфа в кабинете Фридриха, и не помнит ли, кто, кроме Фридриха, подписал документ?

На тех, многолетней давности допросах он бывал неутомим и беспощаден, сейчас же с тревогой всматривался в лицо уставшей Айи, то и дело напоминая себе: довольно, надо дать ей передышку, но понимая, что на передышку у них просто нет времени.

Он осторожно, мягко подбирался к главному — к имени, что со страхом она пробормотала ночью, а за все часы этого изнурительного распутывания связей и встреч лишь упомянула вскользь раза три, — возможно, потому, что редко с ним сталкивалась? Или потому, что инстинктивно старалась отодвинуть от себя эту темную личность? Она почти не говорила о Гюнтере, а у Леона были свои соображения пока не заикливаться на этой теме. Слишком многое предстояло раскапывать, слишком важна была любая информация об этом человеке, которого, судя по всему, Айя по-настоящему боялась.

— Ой, знаешь... — Она встрепенулась с озабоченным видом, села по-турецки на тахте, слегка привалилась к стене; из-за ее плеча выглядывала лукавая рожица мальчишки-апаша на Барышнинном гобелене. — Погоди-ка... молчи-молчи... мысль одна крутится, насчет Крушевича... — И довольно шелкнула пальцами, ухватив воспоминание за хвост: — Однажды они сидели перед телевизором...

— Кто — они?

Отмахнулась:

— Ну, Фридрих и Елена... Бывают такие вечера, когда они не грызутся, а как шерочка с машерочкой...

Я сидела у них за спинами, крутила в ноутбуке одну идею рекламы кофейного напитка — вкалывала тогда в агентстве Баринга... Лица обоих видела в зеркале над теликом. Они смотрели новости. У них дома вообще новости крутят весь день, не выключая, — то Си-эн-эн, то Би-би-си, то немецкие, то российские программы. Какое-то безумие, как будто с них кто-то мониторинг требует. Я и не думала за ними шпионить, просто сидела, мозги ломала над чертовой рекламой... Но иногда застревала взглядом на Елене. У меня, знаешь, когда-то была мысль сделать ее портрет, *настоящий портрет*: бывают моменты, когда она вдруг теряет над собой контроль, — ну, если в бешенство впадает или чему-то сильно удивляется. У нее так порочно и жалостно отвисает нижняя губа... и тогда она просто копия одной нашей соседки: та была клептоманка, из магазинов водку под кофтой выносила. И когда ее ловили — ну там, милиция, то-се, акт составляют, — она кричала: «Ой, сирота я, сирота-а-а! Ой же ж как меня обидеть легко-о!» — и губа точно так отвисала... Ну, не важно. Короче, они лениво перебрасывались словами, так что *читать* их было нетрудно. И я случайно... Понимаешь, я правда не собиралась подслушивать, зачем мне... В общем, Фридрих сказал: *Андрей участвует в какой-то операции российским экспертом*. Так и сказал: «Андрей — консультант, он ведь там все знает». И еще: «МАГАТЭ?! Ну, эти болваны могут отдыхать». В общем, как я поняла, на Семипалатинском полигоне проводилась какая-то секретная операция — сбор плутония, что ли. Якобы собрали чуть не двести кило. И Елена говорит: «Ничего себе, аппетитный кусочек». А Фридрих ей: «Мда, если учесть, что на бомбу достаточно килограмм двенадцать плутония-239, он же плотнее, чем уран». И Елена: «А что, эта пропасть денег?..» — дальше что-то неинтересное, и я переста-

38 ла *слушать*... Но вот про Крушевича помню. А он ведь правда специалист?.. — И с интонацией старательной ученицы: — Это хорошо, что я вспомнила?

Леон сказал:

— Ты моя умница. Ты — самая вострая, самая при-
метливая... самая-самая. А сейчас сделаем перерыв...
угадай, на что!

*Не та ли это совместная операция Казахстана, Рос-
сии и Америки, на которую потрачено 150 зеленых лимо-
нов, частью по программе Нанна-Лугара, частью — на-
прямую из Лос-Аламоса, так называемая Программа
совместного уменьшения угрозы, проведенная тем не ме-
нее почему-то втайне от МАГАТЭ? Сейчас можно толь-
ко предполагать, какую выгоду извлек наш выдающийся
эксперт-атомщик из своих «консультаций» и как под
шумок поживился плутонием, добытым и значенным
до нужного момента и переправленным по частям — но
куда, куда-а-а? — чтобы поплыть напрямиком в Бейрут-
ский порт из какой-то там бухты? И в таком случае:
как здесь задействован Фридрих или, скорее... Гюнтер?*

Леон выжидал, когда можно будет вскользь нена-
вязчиво произнести имя Гюнтера — пожалуй, един-
ственное, что его сейчас интересовало. Нет, неверно:
интересовало многое. Например, зачем вообще Фри-
дриху понадобилось вытаскивать в Лондон встречен-
ную в Алма-Ате внучатую племянницу, девочку с та-
кой обременительной особенностью, как врожденная
глухота? Что, собственно, она, с ее умением читать по
губам... Стоп! Может, дело именно в этом?

Спросил у Аии напрямую.

Она серьезно ответила:

— Нет. Нет... Он, конечно, пытался меня как-то
приспособить — вначале... Ну, как это там называет-

ся: курьер, связной, да? Но когда я взбрыкнула, оставил тему, махнул на меня рукой. Бывает же так в семье — неудачный бесполезный ребенок, куда его? Но Фридрих меня не прогонял, даже когда я сбрендила и жутко колобродила — знаешь, все эти выверты левой британской богемы... С удовольствием ходил со мной на соревнования по фигурному — я до сих пор люблю смотреть — и на выставки с моим участием. По фотографиям давал какие-то советы, вполне дельные — у него, между прочим, отличный вкус. И если б не Елена, которую трясет, стоит мне появиться в доме... Знаешь... — Айя помедлила, будто мысленно проверяла то, что собиралась сказать: — Думаю, Фридрих меня просто любит.

— То есть? Влюблен? — нахмурился Леон.

— Да нет, ну — любит, привязан... Такая вот странная родственная симпатия. Он ведь тоже — «сирота». Ванильный Дед... его отец, которого он никогда не видел, да и вообще, вся эта неведомая казахская тема — она его страшно интригует. Я для него такой вот сколок родни со степного полустанка, которую он никогда не имел. И потом, Фридрих не лишен сентиментальности. У него когда-то давно умерла молодая жена, остался сын-малютка. А тут я, и тоже сирота, *тоже малютка*, да еще со своей несчастной глухотой...

Она обхватила колени, насупилась, будто сосредоточенно вглядывалась в себя. Тряхнула головой:

— Нет, не знаю, не знаю! Запуталась я, к черту их всех! Но разыскал же он меня в Иерусалиме и вытянул опять в Лондон — зачем? Я для него совершенно бесполезна, и Гюнтер был против моего возвращения, знаешь, он буквально взбесился! Я *видела* их разговор из окна гостиницы. Фридрих вышел купить английские газеты в арабской лавке через дорогу, а Гюнтер выскочил следом, остановил его, да так грубо руку на

40 плечо, прямо дернул! И говорит: «Что за блажь с этой девицей, *fater*, ты совсем спятил на старости лет?..» Ну и бла-бла-бла. Говорил по-немецки, а я в нем не очень, многое восстановила потом по смыслу. Фридрих спиной стоял, не видела, что он там ответил.

Вот оно и названо — имя. А теперь — осторожней... на пианиссимо: не испугни, не зажми ее, не взвинти ее страхи...

Леон выждал пару мгновений.

— А что, Гюнтер был с вами в Иерусалиме? — спросил мягко, незаинтересованно.

— Да, у него там были какие-то дела, что ли, встречи...

— И жил в той же гостинице, что и Фридрих?

— Нет. Откуда-то приехал. Может, с побережья? Был очень легко для Иерусалима одет, и почти без вещей, и на другой день исчез, а значит, я думаю...

А значит, наблюдательная моя умница, значит, приехал не из-за границы и ошивался где-то у нас под носом. Где же? В какой личине? По каким документам? И уехал в тот день, когда был убит Адиль, мой лучший «джо», мой антиквар, мой друг...

Быстро вытянув из ящика письменного стола ноутбук, Леон молча отыскал фотографию с лавкой Адилья, шелкнул мышкой, увеличивая кадр. Вот он, антиквар, с хитринкой посматривает на того, чьею лица мы не видим. С самого начала Леона беспокоило именно это: Адиль демонстрировал монеты Веспасиана Фридриху, но смотрел-то вовсе не на Фридриха, а на того, кто стоит к нам спиной (такой тревожно знакомой спиной!), досадно заслоняя часть кадра. Понятно, почему Айя с ее художественным чутьем отсекала *ненужный сор*, в конечном варианте оставив только выразительные руки старика-антиквара.

— Подойди сюда, цуцик, — тихо позвал он и сам удивился: откуда у него вырвалось это «цуцик»? От-

куда мгновенный спазм в горле, будто она маленькая и беззащитная и хочется обеими растопыренными руками от всего ее оградить? Значит ли это, что Имануэлю тоже хотелось оградить тщедушного пацана — «свистульку с серебряным горлышком», как иногда он называл Леона? — Слышь, цуцик? Иди-ка сюда!

Когда подошла, привлек ее к себе на колено, обнял за талию и навел мышку на кривую спину, крепкую шею и плосковатый затылок неизвестного на экране.

Силуэт очертил:

— Это Гюнтер?

— Ну да, — спокойно отозвалась она. — Я потому и сняла сзади, пока он не видел. Он же чокнутый, его фотографировать нельзя. Однажды расколошматил мою линзу, самый лучший объектив! Вырвал из рук, бросил на пол и раздавил тремя ударами каблука. А когда я полезла в драку, так небрежно, неуловимо пнул меня, я два дня отлеживалась. Большая Берта орала, как паровозный гудок: «Свинья! Проклятый выродок!» — хотя обычно называет его «юнге», «мальчик». Кажется, в доме только один человек его не боится — старуха. Она вообще никого не боится.

Айя помолчала и неохотно добавила:

— Папа считает, что все трое — Фридрих, Гюнтер, а заодно и я — унаследовали кое-что от Ванильного Деда. Вот кто опасность нутром чуял! Он в плену сидел в немецком лагере, убирал там комендатуру, ну и воровал из мусорной корзины листы использованной копирки. Прочитывал в бараке все их приказы. Представь: иностранные слова, да шиворот-навыворот, да по ночам, в темноте, с черной копирки. Наткнулся на приказ о ликвидации лагеря и организовал побег... Папа говорит, он мог стать гениальным разведчиком, а стал настоящим зверем, бабку Марью избивал чуть не до смерти. Но у Ванильного Деда были война, конту-

42 зия, два лагеря... а вот его потомки сами себе ищут и создают «битву и бурю». Так папа говорит.

— А отец... он все знает?

— Конечно! Все-все!

— Господи, как же он живет...

И задумчиво добавил:

— Это он потому и не выдал мне твоего телефона...

Айя улыбнулась:

— Он бы под пыткой меня не выдал. Зато через минуту после твоего отъезда написал мне: «Был Желтухин Первый. Хорошо пел». И твой парижский адрес.

— А... этот Гюнтер... послушай, он... действительно так на тебя похож?

— Что ты! — Она фыркнула. — Я даже не понимаю, зачем Фридрих это придумал, — может, на новую родню «работал», усилить родственное впечатление? Или самому почудилось что-то такое... в детских чертах. Да нет, Гюнтер похож на торговца-туркмена или на турка, хозяина шварменной. Или на пакистанца. В общем, он даже на Фридриха не похож. Видимо, на мать, та была откуда-то с Ближнего Востока. И одевается нарочито по-простому, «моя-твоя не понимай», и строит из себя такого... гастарбайтера. Если кто случайно видел его в доме, принимал за садовника. Хотя Гюнтер — очень образованный человек, закончил Тегеранский университет. У него специализация какая-то необычная, Фридрих говорил — семитские языки, что ли...

— Семитские языки?! — воскликнул Леон.

— Если я правильно помню, — неуверенно проговорила она. — Я в этом не очень... Что-то там... в Африке, да?

Да, детка. В том числе и в Африке... Такая вот экзотическая группа языков, среди которых, представь, — амхарский, тигринья, новоарамейский, мальтийский... Ну, и арабский. И, между прочим, иврит.

Леон перевел взгляд на спину и затылок Гюнтера на фотографии. Почему эта спина кажется... слишком свободной, что ли? Ненагруженной... Что, что связано с этой спиной, что перетаскивала она, эта спина, эти плечи в твоей памяти, и почему никак не получается прорвать пелену?

2

Однако перед Филиппом пришлось раскрыться. Не слишком откровенно и никакого напряжения — ни в голосе, ни в наших профессиональных планах; все на *меццо-пиано*, все светски-оживленно: так и так, моя новая знакомая из Таиланда, погостит недельку-другую. Облегченный отпускной вариант.

Для осторожного приятного ужина он выбрал хорошо знакомый ресторан в самом центре квартала Сен-Жермен.

Ресторан «Вагенэнде» был для Леона своеобразным талисманом: здесь они с Филиппом раза три проводили на редкость удачные деловые обеды и ужины с людьми, от которых так зависит «наш оперный бизнес». Здесь и кухня была отменная, но прежде всего с порога покорял интерьер: изысканный модерн, никакой проклятой современности.

Благодаря зеркалам, опоясывающим стены и оплетенным лианами красного дерева в стиле *nouille*¹, просторный зал пребывал как бы в плавном кружении. Все арабески, овалы, вензеля, витражи и фарфор, бла-

1 «Лапша» (фр.). — Здесь и далее прим. автора.

44 городные бронзовые люстры и овальный потолочный плафон работы Пивена (неброские, но удивительно чистые тона) — все сливалось в праздничный аккорд.

В начале прошлого века тут крутились в запарке официанты сети ресторанов быстрой кухни «Бульоны»; потом дело было перепродано и попало в руки семьи Вагенэнде, которая на протяжении чуть ли не всего двадцатого века самоотверженно оберегала изысканный интерьер от веяний эпохи. В шестидесятых чуть не разразилась катастрофа: некие деловые люди пытались выкупить ресторан под супермаркет. Тогда на защиту основ поднялась парижская элита, всё благородные едоки: генерал де Голль, Андре Мальро... надо ж было где-то по-человечески ужинать! Короче, ресторан отстояли.

Публика бывала здесь разношерстная, не чопорная, и атмосфера оставалась уютно домашней. А официанты — что редкость в Париже в наши дни — приятно удивляли учтивостью и расторопностью.

Меню *мероприятия* соответствовало стилю задуманной Леоном ознакомительной встречи: ничего торжественного, не помолвка же это; очередная пасья, милая тайландская гостья... Никаких фейерверков, но плотный ужин по полной программе, то есть, как говорила Стеша, «триста целковиков (местных целковиков, разумеется) отдай не греши».

Филипп появился, когда Айя с Леоном уже сидели за столом, рассматривая карту вин. Филипп был великолепен, благоухал дорогими духами, и хотя заявил, что еле приполз после трудного дня, его аккуратно зачесанные височки и ухоженная эспаньолка с неизменным белоснежным клинышком по центру, точно этот кот ел сейчас сметану и с ложки натекло на бороду, на-

водили на мысль, что по пути в ресторан Филипп все-таки навестил своего парикмахера.

Высокие стороны общались на английском. И первым (спасительным) этапом встречи стала оживленная инспекция книжки меню. (Филипп: «Ни одной книги не читал с бóльшим увлечением! Я голоден как волк, так что приготовь толстый кошелек, мой милый...») Наконец выбрали: на закуску — утиный печеночный паштет, к нему по бокалу белого полусладкого «Монбазияк».

Для Айи Леон заказал *quenelles de brochet*, кнедлики из щуки, зато себе и Филиппу, зная мясные предпочтения своего друга, взял коронное местное блюдо: *tête de veau*, телячью голову, под которую хорошо идет красное «Жеврэ-Шамбертэн» — подхалимаж, легкий кивок в сторону любимой Филиппом Бургундии.

Вообще, Леон был осторожен, как никогда, предупредителен «на обе стороны», галантен, в шутках на редкость беззуб, боялся сказать лишнее слово, так и сверкая своими антрацитовыми глазами то на того, то на другую, подхватывая нить разговора, торопливо смягчая ершистые реплики Айи, старательно подбрасывая натужные нейтральные темы вроде разговоров об искусстве фотографии и красотах Таиланда. Искренне полагал, что свою партию в спектакле «очередная любовная гастроль» исполняет легко и естественно.

Дождавшись, когда Айя уйдет в дамскую комнату, Филипп сказал:

— Обидно, что ты считаешь меня полным кретинном, старина.

И в округленные недоумением глаза Леона:

— Глухая... Ни капли интереса ни к твоему гениальному голосу, ни к музыке, ни к опере. Ни единого пересечения с твоей жизнью. Ничего не скажешь, идеальная пара для оперного певца.

— Филипп!

— Подожди, я не закончил.

Филипп достал трубку и неторопливо, в угнетенном молчании Леона стал ее набивать, затем раскуривать.

— Мордашка у нее симпатичная, и сложена хорошо, но худа, как ободранная кошка. И почему она все время оглядывается, как кошка на крыше: за ней кто-то гонится?

— Филипп!!!

В ярости Леон бледнел, наливаясь внутренним жжением.

— Вот-вот, еще одно мое слово, и ты дашь мне в морду, правда? — добродушно и задумчиво продолжал тот. — И после этого ты что-то лепечешь об «отпускном варианте», «легкой пассивности» и «недельке-другой»? Посмотрел бы на себя: ты же вылизываешь ее каждым взглядом, как корова — новорожденного теленка! Ты истекаешь вожделием, несчастный недоносок... Нет, Леон, увы, мой диагноз суров: тяжелая злокачественная любовь и, видимо, с летальным исходом — имею в виду идиотский брак по идиотской страсти. Я не прав?

Леон молчал, комкая салфетку.

А как вчера он выбирал ей одежду для этого ужина! Как выразительно обтекает ее фигурку чудесное шелковое платье цвета вишневой пенки, с тонким бордовым ремешком на талии, со свободным двойным хомутом круглого воротника, из которого вырастает гибкая шея лани. А ее певучие брови — чуткие, дерзкие, шелковые... А удивительные отзывчивые глаза, которые под бронзовыми люстрами немедленно приобрели цвет золотистого ликера и так и мерцают вишневыми искорками... А как ее ножкам идут высокие каблуки новых ботильонов (в Одессе такие звались «катеринками»)!

Филипп протянул свою успокоительно мягкую руку и накрыл ею бешеный кулак Леона:

— Не терзай салфетку. Просто я вижу, что с тобой стало за эти недели, и каким ты вернулся оттуда, из этого проклятого Таиланда, и что успел наворотить. На данный момент я счастлив, что она приехала, и значит, контракт с Лондоном останется в силе. Я ей готов руки за это целовать! Но ты же выжат ею досуха, болван ты этакий, — чем ты петь станешь? Так что прошу лишь об одном...

Тут вернулась Айя, и одновременно — как и полагается, до десерта — приплыла в руках официанта большая тарелка с разными сортами сыра. Все сосредоточились на выборе: недурное средство для остужения «бешеного мавра», как частенько называл Леона Филипп. Дама выбрала не слишком пахучий «Фурм-д'Амбер»; мужчины остановились на более крепком «Мюнстере».

Несколько минут заняло спасительное обсуждение десерта: выпечка, торты и прочий сладостный разврат, пояснил Филипп, — сильная сторона здешнего меню.

— Если вы еще не пробовали «Плавающий остров», дорогая, непременно возьмите! — горячо советовал он Айе. — Это что-то невероятное: круто взбитые белки, плавающие в сладком английском соусе.

— Не бери ни в коем случае, — грозно предупредил Леон. — Сам он терпеть эту бурду не может.

В конце концов все единодушно сошлись на профитролях под горячим шоколадом.

И можно бы считать, что (с некоторыми осложнениями) первое знакомство закругляется изысканным шоколадным пиреуэтом, но тут Филипп решил обсудить предстоящий концерт в Кембридже и деловые встречи в Лондоне (взрывоопасная тема, которую Леон отодвигал на самый последний момент).

48 — Ты, конечно, возьмешь свою гостью в Англию? — приятно улыбаясь, спросил Филипп с едва заметным ядовитым *форшлагом* в конце вопроса (*о, воображаю, это будет самый утонченный ценитель в зале*).

Айя изменилась в лице: даже не кошка на крыше — пантера над обрывом.

— Чего я там забыла? — мрачно бросила она, дернув плечом.

Филипп опешил. Кажется, он считал эту девушку обитательницей островных джунглей, а поездку в Лондон — таким манящим призом для очаровательной обезьянки.

— Как?! — воскликнул он. — Лондон! Британский музей, музей Виктории-Альберта, жемчужина...

— Зат-кнись! — процедил Леон по-французски, в ярости уставившись на Филиппа. — Ради бога, зат-кнись! Она провела в твоей жемчужине не лучшую часть жизни.

— Ты же не предуп... я же хотел... — Филипп бормотал растерянно и раздраженно. — Так объяви темы, на которые я могу с ней говорить, — сколько их: две? три?

— Я не понимаю французского! — выпалила Айя по-русски, вскинув подбородок.

Леон сказал, глядя в ее глаза цвета золотистого ликера:

— Я люблю тебя. Знаешь, что я сделаю, когда мы вернемся домой? Сначала я расстегну твое...

— Но я же не понимаю по-русски! — сокрушенно воскликнул Филипп и развел руками.

— Идите вы к черту оба, — вздохнул Леон. — Устал от вас.

И все трое вдруг расхохотались...

— И отпустите меня отлить, ради бога, — взмолился Леон, — нет сил терпеть, карауля вас, драчливых баранов!

Вернувшись из туалета, он застал чуть ли не идиллию: Филипп рассказывал коронные «брючные байки» своего отца, известного дирижера Этьена Гишара. В молодости тот был недурным скрипачом и до войны активно гастролировал. Более всего в этих старых байках Леона изумляла их схожесть с гастрольными историями музыкантов какой-нибудь Адыгейской филармонии — в свое время ими во множестве сыпал «Верный Гриша», а позже Леон и сам любил порадовать компанию анекдотами из собственной концертно-студенческой биографии.

— И вот он приезжает в Ментон — а год, скажем, тридцать пятый, тридцать шестой, — селится в самом изысканном местном отеле на шестнадцать комнат, идет на репетицию, затем обедает, отдыхает. А перед выступлением открывает наконец чемодан, который ему всегда складывала мама, — чтобы переодеться в концертный костюм. И с леденящим сердце ужасом обнаруживает, что мама забыла положить концертные брюки! Кошмар! Тогда все было строго: музыканты выступали только во фраках. Брюки черные, с лампасами: атласной такой продольной полосой по шву. Что делать? Выход один — бежать вниз, в ресторан, одалживать брюки у какого-нибудь официанта: по странной моде того времени, официанты носили точно такие же брюки с лампасами...

Леон, вероятно, в пятидесятый раз слушал эту историю — и с неизменным интересом. Филипп был незаурядным рассказчиком: ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова, и притом — полнейшее ощущение чуть ли не экспромта:

— Итак, папа рысью бежит в ресторан и обнаруживает, что именно в этом заведении официанты одеты не так, как всюду, к тому же странно гордятся своей формой — брюки и жилетка в тонкую белую полоску! Ну,

50 делать нечего, времени нет, воскресный день, все магазины закрыты. Папа натягивает штаны какого-нибудь Шарля или Мишеля, опрометью мчится в концертный зал, где играет сложнейшую программу в брючках пошлого альфонса. Все прошло блестяще, публика доброжелательна — аплодисменты, корзина цветов... Наутро папа завтракает в том же ресторане и читает отзыв на свой концерт в местной газете. Рецензент разливается соловьем: звук, интерпретация, техника, музыкальность, ансамбль с оркестром! А в самом конце: «Кроме того, молодой солист привез нам из Парижа новую столичную моду: элегантные брюки, и не черные, а в деликатную полоску!»

Ну что ж, все идет прекрасно, можно успокоиться. И передохнуть, так как за этой байкой идет другая, но с теми же забытыми брюками — у Филипповой мамы, судя по всему, был явный комплекс вытеснения, связанный с нижней частью тела своего супруга. В этой второй истории блестящий Этьен Гишар выступал в Лионе с каким-то вокалистом, и тоже, как на грех, в воскресенье, так что на сей раз пришлось им выходить на публику попеременно: певец дотягивал последнюю ноту, вбегал за кулисы и сдирал с себя штаны. А Этьен уже стоял наготове: в подштанниках и со скрипкой, молниеносно эти штаны натягивал и выскакивал на сцену. И все бы ничего, но певец был выше ростом, и брюки его на Этьене собирались гармошкой. Кроме того, им не удалось вместе выйти на поклон, хотя публика хлопала очень долго.

— ...Я и сам терпеть не могу Лондон, — говорил Айе коварный Филипп, попыхивая трубкой, протягивая через стол свою мягкую руку потомственного дирижера и как бы уминая, вылепливая толстыми пальцами тонкие

пальцы Айи. — Разве он сравнится с Парижем... Антикварная лавочка, индийская лавочка, величественный табачный ларек, грандиозная телефонная будка... А их национальная кухня — о, пощадите мой желудок! А-а-а-а!!! — (Это Айя перехватила и сжала его руку.) — Ох, дорогая, у вас совсем не женская, такая сильная рука!

— И шея сильная, — добавила она. — Знаете, сколько весит фотоаппарат с большой линзой?

— А сколько весит дохлый удав! — подхватил Леон.

* * *

Дома им все же пришлось объясниться:

— Понимаешь, радость моя...

— Только не называй меня своей радостью, как эту консержку, а то я решу, что ты — Филипп.

— Хорошо: моя мегера, мой идол, моя худющая страсть — так лучше?

— Я не худая, я в теле...

— О-о-о, да! Сейчас начну вытапливать этот жир!

— Пусти, перестань меня хватать, говори, что хотел...

— Сначала кофе сварю, ты не против?

— Мне не кофе, а чай...

— Да ты просто *нох айн казахе!*

— Ага, и с молоком...

Они просидели на кухне до глубокой ночи. Он доказывал, убеждал, уговаривал, рисовал дивные картины, высмеивал ее страхи, описывал дом главного редактора какого-то музыкального издательства, с которым должен был в Лондоне встретиться: якобы там в кухне, над старинной печью всегда сушатся серые залатанные кальсоны... Она сначала смеялась, потом плакала, опять смеялась его шуткам. Наконец на выдохе смеха согласилась «поехать в этот чертов Лондон».

52 Он поздравлял себя с выигранной битвой, вспотел от напряжения, как дровосек, — хоть рубашку выжимай.

Затем, уже обсудив все детали поездки, они минут пять умиротворенно целовались над пустыми чашками...

...после чего она объявила, что все-таки нет, никуда с ним не поедет:

— А вдруг я столкнусь там с Фридрихом? Елена тащется с ним на всякую музыкальную... — И вовремя запнулась — значит, собиралась нечто *сказать*: *музыкальную чушь? музыкальную хрень?* Да уж, сейчас ей, бедняге, придется придерживать язык на кое-какие темы.

Леону следовало бы просто утащить ее в постель — *ночной кенарь дневного перепоеет*. Но он устал, разозлился и, как это прежде бывало на допросах, от упорного сопротивления *объекта* повел себя еще мягче: надо захомутать эту кобылку; хватит, натанцевались.

— Ты не только столкнешься с ним, — скупно улыбаясь, *совсем иначе улыбаясь*, проговорил он. — Ты напишешь ему и попросишься в гости.

Она молча уставилась на эту улыбку. Так он смотрел на нее *там, на острове*, перед тем как заманить в лес. Испуганным шепотом спросила:

— Зачем?

У Леона в записке имелось по крайней мере три убедительных ответа и три разных улыбки на подкладку, но, беззвучно рисуя губами слова, будто их кто-то мог подслушать, он сказал:

— Не знаю... — что было, во-первых, чистой правдой, а во-вторых, единственно верным в эту минуту ощущением и единственно родственным — ее внезапным птичьим перелетам.

Ему не нужен был Фридрих. С Фридрихом, и очень скоро, разберутся другие. Гюнтер — вот за кем он охо-

тился: неуловимый Гюнтер, племянник генерала Бахрама Махдави, вероятный секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой». В доме Фридриха возможен шанс выудить какие-то сведения о маленькой неприметной бухте, о частной почтенной яхте, чьей конечной целью будет Бейрутский порт... Именно в доме Фридриха могла их ожидать вольная. В сущности, в Лондон Леон ехал за выкупом. Он задумал этот обмен с конторой еще в тот день, когда Ая, сидя на его колене, подтвердила присутствие Гюнтера в Иерусалиме в день убийства старикантیکвара. Что ж, если на то пошло, мы не чураемся торга: я вам сына, Гюнтера, или как там его еще зовут, а вы мне — покой и волю. То есть Аю. Конечно же, Аю.

— Воображаю, — она усмешливо тряхнула головой, — как мы сваливаемся туда прямо на день рождения Фридриха.

— А когда это? — встрепенулся Леон.

— На другой день после твоего концерта в Кембридже.

Леон вскочил и заметался по кухоньке, вылетел в коридор, встал в дверях спальни, уставился на Барышнин гобелен, словно пересчитывал, все ли пирожные в наличии или их уже слопал негодник-апаш. Нет, не все, не все пирожные он слопал, в радостном возбуждении буркнул Леон, кое-что оставил тебе на закуску.

Вернулся в кухню и вновь уселся за столик — странно спокойный, чем-то донельзя довольный.

— Там собирается большая компания?

— Да нет, в основном его пожилые дружбаны, из этих: «мой адвокат», «мой врач»... И еще какой-нибудь заезжий хмырь из *ВИПов*, в модных туфлях с шипами, вокруг которого выплясывает Елена. Человек семь, десять. Во всяком случае, Большая Берта все эти годы справлялась сама, никого не нанимали. Она непло-

54 хо стряпает и терпеть не может готовую еду, которую, знаешь, теперь принято покупать, «чтобы в доме не воняло». А когда Елена пытается что-то вякать, кричит: «Еда не сразу становится говном!» К тому же Гюнтер, если он в Лондоне... Вот кто готовит — пальчики оближешь!

— А Гюнтер *всегда* приезжает на день рождения Фридриха?

— Не обязательно... Но когда может — приезжает. Эта дата — она и день смерти его матери, такое вот совпадение. Ну, и в этот день он старается быть с отцом. Хотя за столом с гостями никогда не сидит. Я же говорю — его в доме не чувствуешь, он как призрак. Леон! — Айя поежилась, умоляюще проговорила: — Не стоит туда соваться. Я боюсь их, Леон!

— Чепуха, бродяжка моя, — нежно отозвался он, хотя в губах его и промелькнуло неуловимо опасное выражение. — Чего тебе бояться? Я буду рядом.

— Нет, погоди. Я просто не понимаю, зачем тебе этот глупый риск! — И недоуменно усмехнулась, покачав головой: — Ну, в роли кого я тебя притащу — даже если решусь сунуть туда нос? Знакомьтесь, это мой... кто ты мне — бойфренд?

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга — несколько протяжных мгновений, которые все длились, аукаясь в их глазах, властные и одновременно робкие ощутимые, как прикосновения.

— Жених, — коротко и тихо сказал он. — Годится?

Она помедлила... Спросила безразличным тоном:

— Это такая... концертная версия?

Тогда, отсчитав три гулких удара в висках, чувствуя, как что-то мягко всхлипнуло и покатилося в невозвратную глубину груди, он спокойно ответил:

— Это предложение руки и сердца, если ты не против.

Она не шелохнулась. Сидела, по-прежнему всматриваясь в его губы, недоверчиво улыбаясь, будто он случайно оговорился, просто *не мог произнести такого*, и оба это понимают. Только брови ее ласточкины дрожали, не снижая изумленной высоты.

Наконец она вздохнула, поднесла обе ладони к лицу, точно собираясь напиться, вдруг нырнула в них лицом и заплакала.

И беззвучно, неиссякаемо плакала все время, пока Леон скупно объяснял, ребром ладони размечая на століке этапы опасного разговора: именно так — дорогой Фридрих, никогда не стала бы надоедать тебе случайным знакомством. Но это для меня — слишком серьезный шаг, а ты, несмотря на все наши разногласия, у меня тут единственный родственник. И не то что благословения жду, просто считаю необходимым представить тебе... и так далее.

...беззащитно улыбалась, кивала и плакала.

Слезы у нее всегда были наготове, так близко, так благодатно близко; к ее резкому и сильному характеру никакого отношения не имели. И хорошо, что Леон это сразу понял: просто природа заботилась, чтобы в отсутствие слуха самый важный инструмент ее существа — ее глаза, ее пристальный лучистый взгляд — постоянно омывался сокровенной природной влагой.

3

Он и сам не знал, почему решил превратить эту, в сущности, недолгую поездку в *путешествие*, для чего придумал изрядную часть пути проделать на машине, через соборный сумрачный Амьен, через гобеленовый

56 переливчатый Аррас и простеганный каналами Брюгге... Переночевать в Брюсселе, в каком-нибудь неприемном пансионе, а утром сесть на «Евростар» — до Лондона.

Не самый удобный, не самый быстрый способ попасть из Парижа в Лондон, но Леону хотелось «проверить девочку». Хотелось расслабить ее, хоть немного снять то чудовищное напряжение, в котором она жила последние месяцы, да и последние недели их новой, обоюдоострой, взрывчатой, неистовой жизни вдвоем.

Одинокий кенарь, он поглядывал на себя как бы со стороны. Утром изумлялся, если, проснувшись, слышал, как в ванной льется вода. Сквозь сон себя спрашивал: это Владка приехала? И ярким всплеском — нет, не Владка, но некто вроде... Улыбнувшись, потягивался, перекатывался, блаженно распластывался на постели, руки разбрасывал, проводил ладонью по ее еще теплой подушке... Время от времени прислушивался к себе: когда уже он начнет раздражаться? Когда захочется на часок закрыть за ней дверь, с воздушным поцелуем вослед? (Любимая присказка холостяка Филиппа: «Старина, знаешь, что такое вечность? Это промежуток времени между минутой, когда ты кончил, и минутой, когда за ней хлопнулась дверь...»)

А вот и нет, старина. А вот и нет. И странно, и так ново: возможно, именно звуковой вакуум, этот кокон полнейшей тишины, в котором она существует, дарит ему, Леону, удивительную свободу выплеска. Он ловил себя на том, что дома стал громко хохотать, а в минуты их бенгальских искристых ссор с наслаждением кричал, чувствуя потом легкость в груди, словно таял, испарялся окаменелый кусок льда, наращенный всей жизнью. Выорался (Одесса-мама, насмешливо говорила Айя) — будто вены отворил. Грозовые разряды, погромыжива-

ющие где-то там, высоко над головой, и все — мимо, мимо... Здесь только свежесть, и разреженный воздух, и музыка, никому не досаждающие его колоратуры, волнами взмывающие к потолку... Так что, может, ты и прав, дорогой мой Филипп: «идеальная пара для оперного певца»?

Когда все пройдет, думал, надо сразу купить ей фотоаппарат — видел, как она мается, как вдруг сощуривается, откидывая голову, как замирает на миг и раздраженно прищелкивает пальцами: кадр упущен. И бросается к компьютеру, сосредоточенно перебирает что-то там, «обстригает» кадры, выстраивает, дорабатывает уже готовое. И сидит, уставясь в экран, нетерпеливо подтанцовывая коленкой, будто застоялась в стойле и сдерживается изо всех сил, чтоб не разнести стены конюшни.

Да, пора ей камеру купить...

Леон плохо представлял себе, во что выльется его и впрямь диковатый план посещения «Казаха». Просто чувал, что если и существует для них обоих возможность вылететь на свободу, то кроется эта возможность в опасном доме Фридриха Бонке.

Вот ты опять со своей идиотской интуицией, говорил в свое время шеф. А ее просто не существует. Разведка — дело скучное: анализ ситуации и фактов, помноженный на кровавый опыт других.

Что и говорить, чистая это правда, но... как передашь покалывание в кончиках пальцев, предвосхищение смены тональности, неизбежное нарастание музыкальной темы в ушах и во лбу, над бровями? Как растолкуешь осязаемое приближение кульминации? Как опишешь головокружительный восторг в ожидании всегда неожиданного финала?

Своего автомобиля Леон не держал: никчемушный след — куда ехал, где стоял, где заправлялся... На одолженных-то колесах приватность куда как больше.

Он понимал, что толковей всего добираться на поезде напрямик из Парижа в Лондон: в толпе пассажиров и затеряться легче, и, как ни странно, легче заметить и отследить «хвост». Но толпы он не любил, если только это не публика в зале, и по старой снайперской привычке предпочитал, чтобы вокруг расстилалось некоторое хорошо просматриваемое пространство. А если хотелось передвигаться, не слишком привлекая к себе внимание, никогда не снимал машину в фирме по прокату. Просто шел в гараж на соседней улице, к Жан-Полю, двадцатипятилетнему гению механики и автомобильного дела, совал пару сотен в его мозолистую лапу и брал на нужное время любой из трех его автомобилей. Те были всегда на ходу и всегда в приличном состоянии. А самым прекрасным было то, что влюбленный в цвет и линию неудавшийся живописец Жан-Поль — эстет чокнутый — едва ли не каждый месяц перекрашивал своих коней просто так, для настроения. И вот это Леону нравилось больше всего.

— Хочешь «Пежо»? — спросил Жан-Поль, умудряясь ковырять в носу пальцем, перепачканным в машинном масле. — Я его недавно *пережелтил*. Он сейчас как солнышко на дороге.

— Ммм... Не люблю дорожную полицию.

— Тогда «Рено-Клио» бери, он все еще темно-синий.

— Отлично, морские цвета успокаивают.

Складывались долго и канительно — будто на месяц уезжали. Выяснилось, что у них кардинально разный

подход к дорожной экипировке: Ая предпочитает свободные руки и минимум веса («Я так привыкла; с меня довольно аппаратуры»), Леон, напротив, для «неожиданной погоды» и «разных поворотов сюжета» любит запасти лишним пуловером, лишней рубашкой и лишними туфлями. А фрак, черт его дери! А смокинг?! Черный — это само собой, а хорошо еще один, *на всякий случай...*

По этому поводу стены бывшей конюшни вновь сотрясали вопли, губительные для голосовых связок певца, но такие сладостные, поддержанные такими трелями вездесущего Желтухина...

— Нет, подожди, — оторопело спрашивал Леон над раскрытым чемоданом, с концертными туфлями в руках, — ты собираешься ехать с одной парой джинсов?!

— Но у меня же одна задница, — спокойно возражала она.

— Женщина! Может, ты и трусы берешь в одном экземпляре?!

— Я могу ехать вообще без трусов — ты будешь только доволен...

— А платье! Твое новое обалденное платье!!!

— Прекрати руководить моим гардеробом, Одесса-мама...

Когда чемодан уже стоял в прихожей, дом был прибран, холодильник опустошен и мусор вынесен, пригласили Исадору для подробных консультаций на предмет кормежки и выгуливания Желтухина Пятого. Португалка уже дружила с желтым наглцом и кавалером — тот строил ей куры и закатывал серенады. Не волнуйтесь, месье Леон, я все поняла: тут вот корм, водичку меняем каждое утро, и выпускать полетать, но форточку перед тем, конечно, закрыть.

Она вздохнула:

60 — Я бы с удовольствием забрала вашего красавца себе, но у внука такая аллергия на птичий корм...

— Да-да, аллергия, — отрешенно произнес Леон в наступившей паузе, застывая, каменея и даже вроде как покрываясь инеем. — Как я мог забыть... Аллергия, да... Это замечательно!

Ринулся на балкон — разыскивать в кладовке дорожную медную клетку. Крикнул оттуда:

— Исадора! Радость моя! Простите! Все отменяется! Мы забираем кенаря с собой!

Явился с клеткой и принялся отсыпать корм в пакетики, собирать походный птичий багаж. Открыл ажурную дверцу и протянул Желтухину палец, который тот немедленно обхватил своими восковыми трехпальными чешуйчатыми лапками.

— Поехали-поехали-поехали с оре-е-ехами... — выпевал Леон полупшепотом. — Канарейка за копейку... чтобы пела и не ела... Карета по-о-одана, маэстро, карета по-одана...

Кенарь вспыхнул крошечным солнцем в утреннем луче меж гардин, перебрался на новую жердочку и принялся деловито инспектировать свой портшез.

Айя наблюдала эти внезапные сборы в замешательстве.

— Ты с ума сошел? — осведомилась она нерешительно.

— А что! — Леон почему-то был в восторге от внезапной своей дикой идеи. — Берут же хозяева в поездки кошек и собак. Я, может, жить не могу без любимого кенаря...

— Месье Леон — большой оригинал, — пояснила Исадора обескураженной Айе. И улыбнулась: — Настоящий артист!

Пока загружались у Жан-Поля, поругались, помирились, долго бережно пристраивали на заднем сиденье клетку с Желтухиным Пятым, чтобы кенаря не укачало. Наконец покинули гараж, проехали переулок и встали на светофоре. И тогда Леон шумно и освобожденно выдохнул, засмеялся, потянулся к Айе и обеими ладонями взял ее лицо. Поцеловал с таким проникновенным, таким кротким чувством, словно через минуту им предстояло расстаться на год.

— Мы будем ехать долго-долго, моя любовь, — сказал, — через Амьен, Аррас, Брюгге... В Брюсселе непременно выпьем пива в одном славном подвальчике.

— В Брюсселе? Пиво? — недоуменно уточнила она, смешно ворочая головой в его ладонях, как ребенок в завязанной шапке-ушанке, все еще не понимая его возбуждения, его праздничного волнения, только чувствуя, что эта их дорога — начало чего-то важного, возможно, очень опасного, но почему-то необходимого Леону.

И ничего на сей раз не спросила, что само по себе было невероятно.

Тут выпал зеленый, и они выехали из переулка на рю де Риволи.

* * *

В Амьене погода еще крепилась, не давая воли слезам, хотя пейзажи равнинной Пикардии никого бы не развлекли и не порадовали: унылый горизонт, как по школьной линейке, туманы на голых полях, безликие коробки промышленных блоков. И над всем — пелена утреннего неба, сквозь которую изредка процеживался парафиновый луч. Только бы не дождь, заклинала Айя, в дождь так скучно ехать...

Но в Амьене дождь их еще не настиг. Загнав машину на муниципальную парковку, они под пасмурным небом пошатались немного по центру, прошлись по берегу сонной и тихой Соммы, отыскивали кафе как раз напротив собора Нотр-Дам и уселись за столик на улице.

— Он странный, да? — Айя кивнула на собор. Она сидела, вытянув и скрестив ноги в джинсах, все еще похожая на мальчика, хотя мягкий ежик ее волос уже стал завиваться на висках и затылке. — Какой-то неуравновешенный.

— Он самый большой во Франции, знаешь? — отозвался Леон. — Акустика изумительная, я пел здесь раза три. И внутри такой светлый текучий воздух — от витражей. Хочешь, зайдем?

Айя хмыкнула:

— Думаешь, я его не снимала, этого монстра? Я месяца три работала на один модный журнал, торчала здесь на фотосессии с этими идиотками... — И, перехватив его взгляд: — Ну, с этими, моделями. Кстати, их менеджер предложил мне *попробоваться*, уговорил напялить какие-то их супермодные тряпки, поставил меня на дикие платформы, каких я сроду не носила, — клоун на ходулях! — и пустил пройтись по площади... Ахал и закатывал глаза. В общем, я послала его к черту. Снимали здесь и в Генте, на фоне тамошнего собора. Но этот мне нравится больше. Он такой огромный, неловкий, какой-то... стеснительный: одно плечо выше, другое — ниже...

— И эта готическая роза в груди, как крупный цветок в петлице...

— Слишком тщательно сработана, — заметила Айя. — Каменный ажур этих соборных роз...

...А какую изысканную розу вырезал из красной луковицы «ужасный нубиец» Винай... Куда он все-таки делся?

Какому бизнесмену готовит сейчас свой тайский салат из холодной говядины? Господи, на что тебе сдался Винай, если уж даже в конторе равнодушны к его судьбе? И к чему твой беспокойный слух все танцует и кружит, все обшаривает тревожными щупальцами закоулки твоей же памяти?

Официант принес кофе.

— Амьен здорово порушили во время войны, — сказал Леон, отвлекая себя от навязчивых мыслей. — Потом его лет двадцать восстанавливали — ратушу, собор, Амьенскую башню, практически весь район Сен-Льё... Реставрация — всегда чуть-чуть помесь Диснейленда с кладбищенским памятником.

— А еще не люблю эти парадные шеренги святых над порталами. Выстроились, лица постные, у каждого — послушной список чудес. Знаешь, вот в Страсбурге... — Она оживилась, подалась к Леону, и руки мгновенно взлетели к лицу, готовые ассистировать. — Там статуи собора, те, что уцелели, перенесли в «крытый мост», и представь: ангелы и химеры за грязными решетками КПЗ... Сразу меняется все! Вот что значит деталь как рычаг события. Заключение ангелы... Я сделала целый рассказ. Потом покажу тебе пару снимков. Там есть один юный ангел — папа говорит, на меня похож. Умора, кому сказать...

Он смотрел на ее лицо, все собранное из плавных и чуть раскосых овалов, и думал, что Илья Константинович прав: она и есть — заключенный ангел, всегда замышляющий побег. Ангел, запертый в пожизненную одиночную камеру глухоты. Его, Леона, собственный заключенный ангел со связанными крыльями...

Тут первая капля дождя упала ей прямехонько на нос, другая на скулу, скатилась к подбородку крупной слезой. Ая поежилась и засмеялась, отирая кулаком щеку, погрозила грязноватому неряшливому небу.

64 — Ну, началось... — вздохнул Леон. — Пойдем к машине?

— Постой, у меня тут кофе еще на семь глотков.

Сняла со спинки стула его джинсовую куртку и накинула на голову. Так и сидела, торопливо допивая свой кофе.

И тут Леона прошибло. Вдруг он понял, кого так мучительно она все это время напоминала. И почему при взгляде на нее то и дело возникают: слепящий свет, голубое покрывало, длинные послеполуденные тени от высоких монастырских стен и тишина каменных прохладных залов... Конечно, вот оно: Палермо, Музей изобразительного искусства, картина Антонелло да Мессина — «Мария Аннунциата»...

Он приходил туда дважды и оба раза — ради Марии. Подолгу стоял, нащупывая интонацию, меру, тембр... В те месяцы работал над несколькими барочными ариями, посвященными образу Девы. Много не чувствовал, во многом сомневался... Странно — почему вдруг решил продираться к своим открытиям через иное искусство, через живопись?

Николь сначала иронизировала, потом слегка сердилась — по-своему, конечно, мягко улыбаясь: «А если я стану ревновать?..» Да-да: голубое покрывало, широковатый нос, высокое чело с благородными бровями — мальчиковое лицо из плавных раскосых овалов, и все вместе подчинено единому замыслу. Глаза с припухшими верхними веками ускользают, не смея на тебя взглянуть; щепоть левой руки придерживает на груди покрывало, а правая слегка приподнята: то ли Мария потянулась остановить того Невидимого, кто ее покидает, то ли ощупывает воздух перед собой, еще не веря в произошедшее... И странное ощущение, что эта девушка никого не слышит... Вернее, слышит только жизнь внутри себя.

«Леон, ну что ты прилип к этой картине! Ты меня поражает... Странные пристрастия...»

Та волшебная поездка на Сицилию — семейная вила на вершине горы, многослойная синева моря, поутру блестящего серебром, — несколько безмятежных дней, когда он был близок к тому, чтобы произнести те самые слова, которых Николь ждала три года и не дождалась. Те слова, что открыли бы ему ослепительные своды высших сфер: возможность дорогостоящих рекламных турне, грандиозных «промоуинз» и прочих современных трюков для мгновенного вознесения певца на вершину международного музыкального олимпа.

Короче, те самые слова, что так просто, почти без выражения, он сказал на своей кухне вот этой глухой девушке с его джинсовой курткой на голове; этой девушке с широковатым носом, сосредоточенным взглядом из-под припухших век и ласточкиными бровями, на которые он готов смотреть не отрываясь всю оставшуюся жизнь.

— Вот теперь идем, — бросила она, снимая с головы куртку и перекинув ее через плечо Леона.

В Аппассе дождь уже покропил мостовые, оставил крупные оспины на лобовом стекле машины, так что ужинали поближе к стоянке, в каком-то неинтересном ресторане — просто чтобы отсидеться и передохнуть. Вообще каждые километров пятьдесят Айя предлагала где-то «посидеть», придумывала разные нелепые предложения, как ребенок, оттягивающий возвращение с прогулки домой. Волновалась — не устал ли он? Неужели ее настолько пугало приближение Лондона?

На въезде в Брюссель они угодили в кошмарную пробку. Доползли до Гранд-плас и долго тыркались

66 по окрестным переулкам в надежде урвать местечко для машины. Наконец повезло: на одной из парковок виртуозно втиснулись между двумя микроавтобусами и под ровным, жестким, но все еще терпимым дождем нырнули в подвальчик, в обещанную Леоном пивную, название которой «Cercueil» переводилось просто и брутально: «Гроб». У них и в витрине наглядно расположился скелет — в роскошном гробу со снятой крышкой, непринужденно свесив кости бывших рук по краям своей узкой обители.

Внутри псевдотаинственной крипты в мерцании свечных огоньков накачивалась пивом веселая публика. Скамьями служили, разумеется, гробы. Музыка крути-ли, разумеется, «Реквием» Моцарта.

— Забавное местечко, — заметила Айя, — хотя и выпендренное.

— Но пиво первоклассное, — возразил Леон.

Он уже не боялся музыки «Реквиема», как это было в детстве. Но с первых тактов «Introitus» по-прежнему мороз продирает его по хребту, и распаивалась мертвенная равнина мессы, а сердце сжималось в невыразимой тоске чьего-то вечного плена. Какого черта я приволок ее именно сюда, подумал Леон, как обычно на какие-то мгновения забыв, что Айе совершенно все равно, что там лепечут, шепчут или изрыгают динамики.

Они заказали по кружке пива, как-то невзначай разговорились с соседом по столику, бельгийцем, автомехаником.

— Я в молодости подрабатывал в этой пивной, — сказал он и кивнул куда-то в угол: — В гробу лежал вон там, изображал покойника...

— Врет, — по-русски заметила Айя.

— Да нет, просто тяжеловесный бельгийский юмор. У французов есть куча анекдотов про бельгийцев, как у русских про чукчей.

Бельгиец, словно угадав, о чем идет речь, вставил:

— Зато у нас авторуты ночью освещены, не то что у французов: влетаешь в чертову задницу и думаешь — да что они, на фонарях экономят? — И довольно захохотал: — А им просто свет не нужен. Они с наступлением темноты самовоспламеняются!

* * *

Когда собрались выходить и сунулись наружу, дождь уже расхлестался вовсю. Накрывшись курткой Леона, добежали до стоянки, за две минуты вымокнув насквозь. Влезли в свой «Рено-Клио», включили печку... которая, как выяснилось, не работала. Сволочь Жан-Поль, ругнулся Леон, отирая мокрыми ладонями мокрое лицо, не предупредил! А надо было «Пежо» брать, желтое солнышко, тот хоть поновее...

Грохот дождя по жестяному навесу стоянки перекрывал все звуки, даже гомон и гул колоколов. А еще ведь предстояло искать ночлег, какой-нибудь отель неподалеку, влезть под горячий душ, переодеться в сухое...

— Как там Желтухин? — озабоченно спросил Леон, оборачиваясь. — Не помер, бедняга?

— Не знаю, молчит... Господи, папа тебя прибил бы! Зачем ты потащил кенаря в Лондон, можешь сказать наконец?

— Это подарок Фридриху.

— Что?! Да послушай... птицы — совсем не по его части!

— А вот это мы увидим, — буркнул Леон.

Выехали из крытой стоянки под обвал дождя, заколотившего в лобовое стекло машины остервенелыми кулаками. Леон запустил дворники на предельную бегодную и воскликнул:

68 — Потерпите, птицы! Я знаю, где мы заночуем! — И повернулся к Айе: — В замке! Хотите в замок, принцесса?

— Смотри на дорогу, умоляю, — отозвалась она, стуча зубами. — Что ты еще придумал, что за замок...

— Скорее поместье. Для классического замка там нет оборонительных укреплений — ну, рва с водой, подъемного моста, чего еще? Дальнобойных мортир на стенах... Но галерея для менестрелей в дубовом зале и поворотный круг, такой, чтоб развернуться четверке лошадей, — это есть. И камин, в котором можно гулять по утрам, если пробить железную заслонку.

Леон и сам не знал, почему вспомнил про замок. Тот вдруг восстал в памяти во всем своем неуклюжем и неухоженном великолепии.

— Это недалеко, во Фламандском Брабанте, — торпливо пояснил он, — на пути в Лёвен... Прелестный шато, благородная романтика, бесконечные коридоры. Под ноги только надо смотреть.

— Зачем под ноги?

— Чтобы в колдобину не угодить.

— Он что, на реставрации, этот замок?

Ее простодушный вопрос почему-то привел Леона в восторг. Мгновенно перед глазами возникла милейшая чета Госсенс, его давние знакомые, Шарлотта и Марк (длинная цепь приятельств, украшенная *дуолями-триолями* побочных музыкальных связей и дружб) с целым выводком то ли пятерых, то ли шестерых очень музыкальных отпрысков. Этот караван замыкал ослик, баловень семьи, круглый год пасущийся на чудосочном газоне перед внушительным, хотя и обветшалым парадным въездом в замок.

Оба, и Марк, и Шарлотта, время от времени перехватывали пару преподавательских семестров в универси-

тете Лёвена. Марк был политологом-славистом, Шарлотта хуже того — специалистом по музыке барокко. В длинных перерывах между университетскими заработками семья жила на пособие по безработице. Замок достался им в наследство — кажется, родители Шарлотты каким-то боком приходились родней королевской семье. Таким образом, простые и непрехотливые Госсенсы угодили в безнадежную социальную ловушку: получить муниципальное жилье владельцам замка, даже многодетным, — трудновато. Чинить все это былое величие Фландрии ни у них, ни у короля денег не было. Замок все больше ветшал, ценнейший узорный паркет (дуб и липа, палисандр и дусия) рассыпался и вздыбливался, неутомимый жучок точил мощные балки стен и кессонных потолков; в зимней оранжерее под дырами в стеклянном куполе чахли простуженные пальмы, сена на газоне для ослика явно не доставало, так что бедная животина перебивалась шоколадом.

Когда проваливались полы на одном этаже, семья перебиралась на другой.

Но одну из спален в бесконечных коридорах замка хозяева привели в удовлетворительный вид и сдавали непрехотливым путешественникам («Тоже грош, какой-никакой», — говорила Шарлотта). Года два назад Леон провел у них три безмятежных летних дня между двумя концертами — в Брюсселе и Брюгге, скармливая ослику все, что выносил после завтрака, весьма щедро для такого скромного пансиона.

— Там есть огромная спальня, — сказал он, правой рукой растирая заледеневшие в мокрых джинсах колени Айи. — Такие перины, ах и вах! А у меня есть принцесса, которую я с упоением уложу на горошину...

— Смотри на дорогу, не трепись! — воскликнула она, трясаясь от холода и обнимая себя обеими руками. — И руль держи! Если мы еще перевернемся...

Но они не перевернулись, хотя и проблуждали добрых часа полтора под обложным дождем. Ночь захлебывалась в могучих струях воды, раскачивала, трепала машину, обрушивала водопады на лобовое стекло. И Леон, и Айя совершенно окоченели, нахохлились, успели дважды поссориться. Кроме того, стрелка индикатора топлива уныло клонилась вниз, настойчиво намекая: подкормите лошадку...

Наконец нужный указатель вспыхнул в свете замызганных фар; оба они дико вскрикнули, свернули, еще раз свернули — на сей раз прямо в распахнутые ворота шато, которые никто никогда не закрывал. Въехали между двумя облупленными кирпичными колоннами, на каждой из которых грузно восседал нахохленный каменный грифон с фонарем в клюве, и покатили по воющему от штормовых порывов парку. Деревья раскачивались, как толпа безумных фурий. Впереди на холме мрачно громоздилась зубчатая туча, густо заштрихованная ливнем, — это и был замок. Слава богу: в трех окнах хозяйского этажа горел свет. Здесь поздно ложились.

Леон проехал длинную, в рытвинах, подъездную аллею («Если у них и в комнатах такие ямы, — пробормотала Айя, хватаясь за что попало — за колени Леона, за спинку сиденья, даже за руль, — то лучше уж в машине заночевать»), свернул к западному входу и прогудел тремя протяжными сигналами — больше шансов, что хозяева услышат полуночных гостей: дверной звонок мог быть испорчен.

И правда, через пару минут дверь приоткрылась, из нее выпал столб желтого света, в котором возникла долговязая мужская фигура. Приспустив боковое стекло, Леон крикнул:

— Марк! Принимай несчастных, хочешь или нет!

Марк в ответ что-то приветливо и бодро гаркнул, хотя по интонации Леон понял, что в пелене дождя